

Павел РЫКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕТРА

*«Игёт ветер к югу. И переходит к северу, кружится,
на ходу своём, и возвращается ветер на круги своя»*

Екклесиаст (1, 6)

1

— Та-а-ащи! Упу-у-у-сти-им!

— Подса-а-ачник, подсачник заво-о-оди-и-и!

По поклёвке, по натягу чувствовалось: взялся не сазанчик пустышный, но сазанище. Не выкормыш, невесть чем потчеванный в нагульном пруду, но природный, свободного проживания, из гордецов гордец, властитель здешних вод. Другого такого не сыщешь в реке от устья до истока. Самодержавный Сазан Сазанович! Тут он главный! И сам себя в таковских числит, и все иные-прочие его почитают главным: и прогонистые щучки, стоящие палками под берегом среди придонной травы в ожидании добычи по зубам, и тушистые сомы, распластавшиеся под корягами, и всякая прочая речная шелупонь вроде сопливых, колючих ершишек, о которых думать, кроме как сплёвывая, не стоит. Он ещё волен здесь, у себя в реке, где ему определено сазаньим всевышним нагуливать мяса. Дышит свободно, хотя от натуги жаберные щиты ходором заходили. Да, сглупил, польстился на блазнящее, но привада оказалась с колючим подвохом. Сглупил! Ох, сглупил! Но ничего... Река не выдаст, хотя уже изрядно пообмелела, пока он матерел, наливался силой, набирал сазаньи стати. И коряг нанесло по руслу пуще прежнего, и песчаные перекааты лижут реку всё удлиняющимися жёлтыми языками, а кое-где и куга завелась по самой середке, можно сказать, по самому по стяжню. А всё же река-матушка, река-кормилица катит, поспешает. Всё ещё бурлива, особенно вёснами. Куда без неё! Река, пока жива, без пропитания никого не оставит. Струи речные влекут всяческую снедь. Можно жить — не тужить. А он, сазанья его голова, польстился вотще на нечто не нашенское, и сейчас его, владыку, вываживают из родного и столь привычного мира. Уже явственен предел мироздания: сквозь бликующий свод его вселенной проступают размытые пятна. Там движется нечто неизъяснимое, чему и определения нет на его сазаньем наречии. Звуки оттуда проникают сквозь воду вовсе чуждые, омерзительные, потусторонние. Но вся мощь ещё при нём. Эй, вы там! Слышите: при мне! Да! Вот так-то! Я сейчас!! Осталось собраться с силами, ударить хвостом, и несносная, болючая эта колючка не удержит никогда и нипочём. А там — на самую глубину, вниз, где ему никто на указ. А-а-а-а! Больно-то как! Как больно...

Самое забавное, Олег ощущал себя одновременно и ловцом, вываживающим из реки клюнувшую рыбу, и столь же явственно сазаном, засосавшим комок привады, сладко пахнувший чем-то не тугошним, не речным. Откуда ему, сазану, знать: приманили его подсолнечным жмыхом. Господи! Подумать только — жмыхом! Отходом, по правде сказать. Смехота! стыдоба! А чего больше, не разбери-пойми. Но, ещё смешнее, орал-то его компаньон, откуда-то возникший рядышком в лодке с подсачником в руках и норовивший завести его снизу под кованого с золотистым отливом красавца, почти уже вытащенного из воды. Да-да, собственной персоной Сэмюэл Уайт — двухметровый выходец с Бермуд, чёрный, как сажа из каминной трубы, завязанный лондонский чистоплюй, всегда в ослепительно-белой сорочке и неизменном галсту-

ке-бабочке. Он, любящий рыбу только в жареном виде, — здесь, в уютной самостроенной плоскодонке, привязанной к чиггину, посреди насквозь русской реки, о которой, конечно же, слышал только одно: тут добывают нефть в достаточных количествах.

«Приснится же такое!» — подумал Олег и, улыбнувшись ещё раз негаданным сонным причудам, проснулся окончательно. Он уже и позабыл, когда рыбачил на реке, разве что тогда, боже — двадцать лет тому — летом, в незабвенном девяносто первом году. Тогда они с Тулей ещё продолжали любить друг друга? Или валять дурака? Хотя она, дрянь этакая, скорее всего, делала вид, что нежится в его объятьях. Другой был у неё на уме, совсем иные утех. Олег, как оказалось, всего лишь добирал чужие объедочки пламенных чувств. Нет, не о нём шла речь. И вообще ни о чём таком речь не велась. Олег варил уху. Они поцеживали самогончик, выгнанный самолично Олегом из кизилового варенья и на кизиле же настоящий. С водкой-то были в стране проблемы — только по талонам. А запасы кизилового варенья с достославных времён оставались. И дистиллятор также имелся. Но речь не о самогоне, а о любви. Тогда он ещё верил, что в жизни всё славно. Однако не понимал ещё, но чувствовал: в их отношениях что-то пошло не так. Не на словах, но в том, как она увертывалась, как пыталась избежать того, что требует молодое тело. Ах, если бы он знал... А о чём знать-то? Чтобы знать, надо хотеть знать. А пока... Пока переждать, перетерпеть, переморгать, и потому старательно продолжал делать вид, наивно по молодости полагая, что имитация — это тоже неотъемлемая часть супружеского ритуала, некая искупительная жертва на алтарь любви и семейного счастья. Но вскоре стало ясно, что ничто само собой не срастается. И любовь их, ещё со школьных лет, изначально яростная, захлёб, на полночи страсти, полдня испепеляющих терзаний, угасла. Словно остатки костерка, залитого перед тем, как покинуть обжитый рыбацкий стан на крутом берегу реки. И то, что в стране вздулся и лопнул дурацкий путч, пока они разглядывали отражение облаков в воде, а следом утянуло в водоворот страну, словно распянувшего купальщика — всё пронеслось щомором. Да и как иначе; когда он чисто случайно, по возвращении с рыбалки домой, обнаружил в Тулиной прикроватной тумбочке дурацкие, но крайне интимные почеркушки на бланках-четвертушках, которые стоят обычно у начальников на столе и предназначены для запечатления собственноручных резолюций. На заседаниях бюро горкома ВЛКСМ извергал их в невероятных количествах комсомольский предводитель Колянчик Вахонин. Почеркушки эти обращены были к ней, Туле. Особо, до боли сердечной ударила та, где упоминалась родинка. Та самая, в интимнейшем месте, о которой мог знать только он, муж! И не должен, не должен был, не должен знать никто, кроме него. Никто. И всё разбилось вдребезги и пошло прахом. До путчистов ли тут? До развала ли страны, когда в крутом кипятке оскорблённого чувства единовластного обладателя женского тела бесследно растворился сладкий любовный сироп. И даже наловленную рыбу он тогда не удосужился толком провалять. Так и пропали полтора десятка добрых лешей.

Пока он спал, бортпроводница укрыла его пледом, он и разнежился. А горло, между тем, посадило — вот он, сазаний крючок! Дернул же его чёрт хватануть виски со льдом в VIP-ложе аэропорта, да потом ещё и догрызать кубики льда, не успевшего растаять. Отсюда и сон. Но каков Сэм, кричащий по-русски, будто он не чёрный Сэм, а Сёма с чернозёма, матерно вопящий, хотя и полсловечка русского не знает! И русский язык во сне, которым в последние годы он сам пользовался всё реже и реже. Откуда бы? Приснится же...

Русские сны Олег не видел давным-давно. Вообще сны редко ему снились. Если и снились, то безъязыкие. И бессвязные: неясное мелькание, будто несётся он в туннеле подземки и смотрит на фрагменты стены, выхватываемые из тьмы отсветом из вагонного окна. И дома у себя, и в повседневной деятельности русский язык если и был востребован, то крайне редко и только по делу, как один из возможных, скажем так. Вверженный в бесконечную круговерть проектов, которые охватывали пространство от Западной Африки до Норвегии, он говорил и старался думать исключительно по-английски. Со временем необходимость старания отпала. Он перестал контролировать себя. И какая-нибудь английская идиома жила в его сознании именно так, будто он родился и вырос с этой идиомой, шуточкой незатейливой, вроде той, что услышал вчера мельком в Хитроу. Кстати сказать, русского в нём редко кто с ходу угадывал. И это радовало. Избыточная русскость мешает-таки вести серьёзные дела в Европе. Журналисты тамошние исполняют свою работу вполне профессионально. Всякий прохвост, вырвавшийся с бескрайних просторов бывшего СССР и пугающий швейцарского или бельгийского обывателя своими махинациями, обязательно преподносится, как трижды русский, такой несносный русский, будь он вовсе из незадачного Бердичева или самоопределившейся Кзыл-Орды.

Бортпроводница заметила, что он проснулся, подошла и спросила, не хочет ли мистер чего-нибудь? Он попросил апельсинового сока... Она вернулась с бокалом оран-

жевого сока, в котором плавали — чёрт побери — два кубика льда, и спросила у Олега, не испытывает ли он желания поужинать, ведь сразу после взлёта мистер задремал. Видно, она томилась, бедная. В бизнес-салоне пассажиров было всего двое; Олег и осанистый православный батюшка, уставившийся в тёмный иллюминатор с таким напряжением, словно ожидал увидеть нечто, выходящее за рамки обычного представления о материальном мире. Олег с несколько шутливой интонацией ответил, что хотел бы поужинать, но только не в самолёте, а с ней в каком-нибудь кабачке в городе, сразу после полёта. Предложение звучало неприлично и на Западе могло дорого ему обойтись, но это была родная страна и во всех смыслах родная, и бортипроводница родная, всего лишь с англоязычным бейджиком. Правда, говорила она славно, почти без акцента. Larisa — прочёл он имя вслух, несколько врасстяжку. Она в ответ поинтересовалась его именем. Олег назвал и заметил, как русское его имя вызвало некое мгновенное разочарование, краткое, будто фотовспышка, словно она ждала в ответ какого-нибудь Роналда, или Энтони, или ещё нечто подобное, но никак не русское, не отечественное. Однако Larisa явила замечательную вышколенность и полную профпригодность к работе по обслуживанию первого салона. Вспышка, явившись на миг, тут же и погасла. Но в лице всё равно что-то изменилось, и она уже на русском переспросила о желании поужинать. Смешно было продолжать по-английски. Но Олег решил немного повалять дурака, изобразив непонимание: «Sorry?» И вновь у этого кусочка отборного женского мяса в бордовой униформе что-то на момент отразилось в глазах: «А вдруг он и вправду не наш, а только имя наше. Их, иностранцев, не поймёшь. Олег вполне может быть Алек...» И вновь переспросила про ужин, но по-английски.

Конечно же, никто его не встречал, кроме «диких», судя по всему, таксистов. Сразу трое забормотали: «Такси, такси в город. Недорого. Такси-такси». На их призывы Олег не среагировал — одеты они были так, будто только что вылезли из-под машины после ремонта. Батюшка, летевший рядом, также «дичков» проигнорировал. Он шествовал степенно, а его чемоданище на колёсиках катил следом встречавший человек, лицом и статью похожий на вышибалу из заведения с сомнительной репутацией. У самого выхода из аэропорта Олег среди прочих непроизвольно, будто кто-то ткнул его шилом, выделил для себя невысокого человечка в притемнённых, несмотря на ночное время, очках, одетого, в отличие от прочих, вполне аккуратно, при галстукке, в наглаженных брюках. В правой руке человечек держал ключ и пульт от машины.

— Такси? — спросил Олег.

Человечек кивнул утвердительно.

Предстоял процесс ликвидации всего, что связывало его с этим городом — дело муторное, тошнотворное, с учётом российских реалий. Заниматься этим не хотелось, но не заниматься нельзя.

С лётного поля, за которым в непроглядной темноте угадывалась степь, задувал довольно сильный ветер. Он ощутимо подталкивал в спину, батюшка прижимал камиллаву к голове. Пирамидальные тополя, росшие вдоль дороги, сопротивлялись насилию, но всё равно вынуждены были покоряться порывам ветра.

«Я дома», — подумал Олег, ощущая знакомые с детства порывы степного ветра, налитанного ароматом сизой полыни, прокаленной на солнце пыли. Когда-то в далёкие советские времена самодеятельный поэт-романтик даже песню сложил про табун из семи неукротимых степных ветров и гривы их разноцветные, развевающиеся ponad степными увалами.

— Поехали?

И они пошли к машине. Водитель впереди, чуть припадая на левую ногу, Олег следом, катя чемодан, пощёлкивающий на стыках плиток, которыми вымощена площадь перед аэровокзалом. Подошли к «Фольксвагену». Водитель открыл багажник, поставил чемодан. Сели, водитель вставил ключ зажигания в замок, повернул его, машина чуть приметно вздрогнула и завелась. И они поехали. Олег сел на переднее сиденье, что обычно не делал там, на Западе. Скосив взгляд, заметил брелок, прикреплённый к ключам. Это была пятиконечная, словно бы светящаяся, звезда, но не такая, как на кремлёвской башне, а пентаграмма.

— Воспоминания о стране советов? — спросил он с несколько ёрнической интонацией в голосе.

— Да это... хе-хе... фирменная штучка, — водитель чуть повернулся к Олегу и посмотрел сквозь тёмные очки, которые так и не снял. — Положено... у нас так... это... хе-хе.

Шоссе в сторону города стало неузнаваемым. Прежде довольно ухабистая двухрядка, а теперь вполне европодобное, освещённое фонарями, размеченное по всем правилам. По два ряда навстречу друг другу, отбойники посредине с катафотами.

— Не впервой у нас... хе-хе, — полувопросительно, с каким-то странным подхихиванием сказал таксист.

— Приходилось ...

— Давно не были?

— Порядочно, — неопределённо, через паузу ответил Олег, которому не очень хотелось втягиваться в беседу.

— Не узнаете? — голос таксиста был вроде бы знаком. Нет, просто показался знакомым. Да и с чего бы Олегу узнавать этого человечка. Ещё и очки в пол-лица. Он пожал плечами. — Вот, — сказал таксист как бы между прочим. И оказалось, что спрашивал он не о себе. — Вот-вот-вот! Никто не узнаёт. Отец родной потому что удостоил посещения. Хе-хе. Теперь и мы ездим, как, хе-хе, претенденты в президенты. В прошлом году стали гадать: чего бы это вдруг засустились, забегали, машин с медведями понаехало...

— Какими медведями? — удивился Олег.

— Медведи ядросовские на эмблемах, а машины дорожников, которые асфальт кладут. Все машины зверюгами облепили. И работягам спецовки буквами расписали: ЕР да ЕР. Только буквы «хы» не хватает. И, значит, разговоры: родная партия город о-о-бла-гора-жива-ит. Хе-хе-хе... А потом дотумкали: суета к приезду отца родного, и по каким улицам повезут — тоже известно. Их-то и асфальтируют, полируют. Начальство только языком не облизывает. А в сторону сверни — колдобины. У-е-хе-хе... но не без пользы приезд оказался, не без пользы. Едем — не покачивает. Хе-хе-хе!

— А ядросовские — это чьи?

— А вы разве не за них голосуете? — видно было, что таксист напрягся, ожидая ответа.

Олег подумал, что в лондонском кэбе он навряд ли бы услышал подобный вопрос от водителя. Но то — в Лондоне. И ответил чистосердечно: «А я не голосую». И это была правда. Странно, а то и невозможно, нестись где-нибудь в Нигерии через территории, где постреливают, в посольство, чтобы отдать свой голос неизвестно кому на родине, от которой все последние годы он пытался дистанцироваться, хотя всем был ей обязан и гражданство российское сохранял, и некую часть доходов его фирма так или иначе продолжала зарабатывать на российских немощих. И молодых умников вываживал для фирмы из России, порою из самой глубинки, продолжавшей, вопреки усилиям властвующих, являть миру уникальные молодые головы. Гражданство к тому же выгодно, так как позволяет беспрепятственно въезжать и выезжать по деловым надобностям.

— И правильно! — убеждённо сказал таксист. — Голосуй — не голосуй, всё равно... Хе-хе-хе.

Город был тёмен. Машин на улицах немного. Ближе к центру стали появляться светящиеся вывески. «London Plaza» — кроваво полыхало на тёмном фронтоне одного из строений.

— Английские товары? — спросил он у таксиста.

— Мадеинчина... Хе-хе.

Кстати, в Лондоне на полках магазинов китайщины полно. Даже знаменитых русских матрёшек насобачились ладить китайские умельцы. Но никому и в голову не приходит уляпывать фасад дома в самом центре Лондона огромной надписью на русском языке. Хотя... надо бы обсудить с Сэмом в порядке шутки такую возможность: навезти из России диковин: платки-валенки-лапти, штаны с казачьими широченными лампасами, мёд да клюква в туесках сувенирных... авось кто-то и польстится. И Сэма перед входом в лампасы — ха-ха! Правда, лампасы придётся тем же китайцам заказывать — дешевле выйдет. Да и прогорит магазин скоро — мода на всё русское сильно поумерилась...

А в салоне автомобиля как-то странновато припахивало. С зеркальца заднего вида свисала на тесемочке картонка с полуголой красавицей — ароматизатор воздуха. Внизу картонки красовалась надпись: «Любовь — наша профессия». К тому же сквозь саднящий аромат, исходивший от девицы-профессионалки, пробивался запахок совсем немислимый — будто в салоне ехала вместе с ними свиная туша, которую недавно палили паяльной лампой. Олег нажал кнопку, стекло поползло вниз, и ночной воздух ворвался в кабину.

Прямо, направо, вдоль разросшегося сквера, ещё раз направо, и вот он, Товарищеский тупик: семь домов чётных, шесть — нечётных. Вот дом четыре. В окне зеленоватый отсвет лампы. Значит, Боля не спит, ждёт. Сидит в кресле у стола, за которым провела много-много лет, проверяя ученические тетради с сочинениями. Он рукой указал на крыльцо. Машина тормознула. Таксист отсчитал сдачу. Протягивая деньги, он приспустил очки ближе к кончику носа и впервые посмотрел в глаза Олегу. Станные были у него глаза. Радужки не разберёшь, одни зрачки. Что-то они напомнили. Даже не столько глаза, сколько сам взгляд, присасывающийся какой-то. Какое-то давнее воспоминание. До крайности неприятное, забытое, но живущее на дальних-дальних задворках памяти.

- Так и не узнали?
- Нет.
- Ну, и ладно.

Узнал? Или это показалось? Ну, конечно же, показалось. Олег приучил себя отбрасывать практически машинально всё, что не умещалось в рамки логических конструкций и привычных математических формул — так было проще.

- Хе-хе, — почему-то опять подхихикнул таксист. — С возвращением... Ждут?

Олег поднялся по ступенькам, тесанным из белого плитняка, обернулся, а машины на переулке уже не было. Он даже не слышал, как она отъехала. Ни машины, ни хихикающего таксиста. Прямо-таки мистика. Но не до мистики. Главное, он дома. Крыльцо то же, ступеньки те же, с тем же сколом на второй. Дверь та же, филёнчатая, резная с проймой «Для писем и газет». И кнопка звонка всё та же. Он вспомнил, что некогда она была недостижимо высока, но со временем как бы сползала всё ниже к его пальцу, вернее, он, подрастая, тянулся пальцем ввысь и однажды дотянулся и впервые сам нажал на кнопку, что есть сил, пока дверь не отворилась и мама не сказала с укоризной: «Слышу, слышу, что же ты трезвонишь!» Он наконец-то был дома. В доме, в котором родился и вырос.

Дверь открыла незнакомая Олегу полноватая женщина средних лет. За спиной у неё улыбался Флай.

- Что с Болей? — только и спросил Олег растерянно.

— Уснула, слава Богу, — ответила женщина. — Дважды сегодня скорая приезжала. Меня Агнессы Павловны зовут. Мы с бабушкой вашей подружки по купаниям. Хотели её в больницу забрать, да вас всё дожидалась. Проходите. Проходите... Давление у неё. Криз.

Это была из новостей новость! Он прошел по веранде мимо шкафа, который при открывании пел одну и ту же песню, сколько Олег себя помнил: «А-э-из-з-з» — и отворил дверь собственно в дом. Флай, ткнувшись носом ему в руку, ступал следом, стуча когтями по крашеному полу. Шаги его были тяжелы. Но собака — потом, потом.

- Олечек! — послышалось из Болиной спальни.

Значит, проснулась, заслышав звонок. Он шагнул в комнату. Боля лежала на старой своей кровати с металлическими шишечками, укрытая одеялом. У изголовья — стул с кусочками ваты и двумя надломанными ампулами.

- Ой, я уберу, — спохватилась женщина.

- Не суетитесь, Агнессы Павловны. Я сейчас сама... Олечка! Видишь, как я тебя...

- Болечка, милая! Что с тобой?

И правда: что стряслось с нестигаемой Ольгой Порфирьевной? Её, казалось, ничего взять не могло. И физкультура по утрам под давние марши со старых, ещё шеллачных грампластинок, и купание в реке до ледяных закраин, и обливание холодной водой во дворе, когда река окончательно бралась льдом, и её характер. О нём говорили, будто она словно шампанское, рвущееся из бутылки, до которого, кстати, была охоча. Олег, зная, привозил лучшее из валютных аэропортовых магазинов. А теперь — сумрак в спальне и лицо в обрамлении замявшейся по форме головы белой подушки. И ещё... Ещё — серебряный образок и лампадка. Нет, не лампадка, но тлеющий фитилёк, укрепленный в державке, на старом, толстого стекла бокале, из которого ему когда-то в детстве давали запивочку к таблеткам.

— Николай, — заметив взгляд Олега, сказала Боля. — Николай Угодник. Помнишь, ты привёз.

Он вспомнил, как выбирал вместе с Надой образок из множества прочих в церковной лавке в Бари, где обретаются мощи святого, а православный священник, вызвав, что Олег из России, присоветовал взять именно этот, конечно же, освященный. Тогда Олег никак не мог предположить, что образок, привезённый как сувенирчик, обретёт статус образа, и установлен недалеко — руку протяни — от Болиного изголовья, и перед ним затеплится лампада. Сроду в доме ничего такого не водилось. Ни тогда, когда внезапно и бесследно исчез отец, ни когда мама, не выдержавшая этого исчезновения, в два месяца буквально иссосана была открывшимся раком. Никаких икон. Никаких. Никогда. Безбожный был у них дом.

- Николай, — повторила Боля.

И то, как она произнесла это имя, заставило Олега вспомнить, что Болиного мужа — его деда, которого он никогда не видел, даже на фотографиях, — звали Николай.

— Ты с дороги, устал. Ступай, ложись, поспи. А утро вечера мудренее, завтра и поговорим.

- А ты?

- Мне уже лучше. Давай я тебя поцелую.

— Идите-идите, — напутствовала его Агнессы Павловны. Не беспокойтесь. Я у вас до утра побуду. А может, вам чаю с дорожки?

Он прошёл в свою комнату, разделся, укрылся с головой старым пледом, вставленным в пододеяльник, и тут же крепко-накрепко уснул. Дома ему всегда хорошо спалось. Флай улёгся на прикроватный коврик, свернувшись калачиком, и тоже уснул. Он тоже давно так крепко не спал. Даже невыносимые собачьи немощи его не тревожили. Вернулся хозяин, и от него пахло родным, как и прежде.

2

Проснулся Олег потому, что по дому витал аромат колобков. Как в детстве. Было около десяти утра. Он встал и вышел из комнаты. Флай, поджидавший у двери, завилял хвостом и ткнулся черным холодным носом в бедро.

— Флай, Флай, старина!

Ему сколько? Двенадцать? Тринадцать? Пожалуй, тринадцать, четырнадцатый пошел... Нет, пятнадцать! Или даже старше. Мафусаиловы лета для ирландского сеттера. Когда-то он завел собаку Боле в утешение и в надежде на охотничьи развлечения.

— Олеженька! — услышал он с кухни вполне бодрый голос бабушки. — Умывайся. Я тебе колобков напекла.

В доме с незапамятных времён в ходу специальная чугунная сковорода с ячейками-углублениями. Боля стояла у плиты и аккуратно наливала тесто в углубления, где пузырилось масло. Тесто вздувалось, получался колобок. Оставалось его перевернуть, дождаться, когда и второй бочок подрумянится, а потом подцепить, выложить на тарелку и есть, прихлёбывая студёное молоко из давней-предавней кружки. В доме сохранялось много вещей, которые намного пережили своих хозяев. Вот и кружка, по преданию, поила ещё прадеда — последнего директора городского реального училища, а после революции — директора первой в городе трудовой школы, Порфирия Никитича — Болиного отца. Вкусная керамика, украшенная поливной глазурью. Такую сейчас уже не делают — перевелись мастера, потому что всё и всех, как повсеместно и на Западе, задавила грошовая азиатчина. А прежде, начиная с глубоких дореволюционных времён, в городе гончары процветали. Были целые три улицы, носившие имя Гончарная. Первая Гончарная, Вторая и Третья. Впоследствии переименованные, соответственно: Розы Люксембург, Клары Цеткин и Розалии Землячки. Революционные фурии удостоились вечного поминовения, а ремесленники-гончары упразднены именно потому, что ремесленники, не поддающиеся кооперированию. Зато тупик, на котором стоял их дом и до революции, носил имя Товарщеского. На такое святое название у красных переименователей рука не поднялась.

Олег уминал колобки, запивая холодным, как любил, молоком. Всё было неизменным. Как в детстве. И ему на момент почудилось, что сейчас скрипнет кухонная дверь и войдёт мама в разлтых домашних шлёпках, в халатике и металлических бигуди. Почему-то чудилось, что сегодня воскресенье и не надо идти в школу, и ещё казалось, что папа не уехал в свою последнюю экспедицию, а густо намаывает щёки перед зеркалом в ванной комнате, собираясь бриться опасной бритвой, которая, по его убеждению, одна способна одолеть его похрустывающую при бритье щетину. Но, нет-нет-нет... ничего этого нет. Всё это — миражи. Давным-давно никого нет. Только дом, да старые вещи в нём, да он — птица пролётная, словно казара, летящая с северов, да Флай, дожидющийся колобка: «Возьми, умница! Только аккуратно!» Да Боля... А у Боли спина сутулится да крепко, чего она никогда себе не позволяла раньше. И волосы от корешков даже не седые уже, а совсем белые. Видно, она давно не подкрашивала, что тоже для неё вовсе нехарактерно.

— Ты наелся, Олеженька?

— Пожалуй, ещё парочку.

Масло вновь заискрилось. Давненько не ел он такой вкуснятины. В детстве, сидючи за столом, можно было вмиг оказаться в сказке про колобка и попеременно представлять себя и зайцем, и волком, и медведем, и лисой — зверей, как и колобков, было множество. А если додумывать сказку: и ёжиком, и сорокой, и ужом — почему бы и нет — и забалуем. Да-да! Водился такой зверь в диком и опасном сибирском дремучем лесу, куда уезжал отец в свои экспедиции. К счастью, увидеть его было невозможно. Но он мог, мог запросто явиться под вечер, если мама перед сном никак не могла его уговорить.

— Вот, Олежек! — присевши на стул, сказала Боля. — Укатали сивку да крутые горки. Устала.

Она и вправду устала, натоптавшись с утра, пока заводила тесто, ставила сковороду на плиту, пекла колобки для внука, для Олеженьки, для маленького, для долгожданного внука, для веточки зелёной, одной-разъединственной, которую не чаяла дожидаться из далёкого его далека. Дождалась наконец-то. Она полагала, что приезд вернёт хоть часть сил. Выходит, напрасно полагала. Зазвонил телефон. Она, как ей показалось, сорвалась со стула и заспешила в коридор. Будь снег на полу — вышла бы

лыжня. Походка у Боли сделалась старая — ноги уже не шли. И шея — совсем никуда — позвонки, пара жилко да кожа.

— Да! Слушаю! — Олег узнал интонацию, только она и осталась от прежней учительницы русского языка и литературы. — Здравствуйте. Да, приехал. Мы завтракаем. Хорошо! — и она опустила трубку на рычаги старомодного телефона.

Хотя нет, телефонный аппарат был всего лишь имитацией старины. Чтобы набрать номер, крутить диск не было необходимости. Только прикасайся к сенсорным кнопкам. Тоже подарок Олега.

— Эти звонили, — она села на старый венский стул, притулившийся около тумбочки с телефоном. А тумбочка была не просто тумбочка, а некогда самоварный стол с мраморной столешницей и задвижным ящиком, в котором в самоварные времена хранился мельхиоровый поднос под чашки и щипчики для колки комового сахара. — Эти, — вновь повторила Боля. «Эти» — он знал из телефонных разговоров с Болей — были настырные вымогатели дома. — Они меня на улице выследили. Иду я с молоком, к нам в переулочек заворачиваю. А этот притормозил, да тихонько так, словно подкрался. И вежливо-вежливо спрашивает: «А можно ли с вами, Ольга Порфирьевна, переговорить?» Откуда, спрашиваю, вы меня знаете, молодой человек? А он: «Как же не знать?! Вы же не бабуля какая-то — памятник. По телевизору говорили».

Боля сидела на старом стуле ссутулившись, и кисти рук тяжело лежали у неё на коленях. Олег впервые для самого себя отметил: руки тяжелы и натружены, а чёрные вены прорисованы, будто на странице анатомического атласа. У памятника первой учительнице, который установили в сквере у пединститута, было некоторое портретное сходство с Болей, но только давнишней, молодой. Скульптор Мартемьянов, сам человек также весьма немолодой, настоял на сходстве. Он запомнил её такой, пришедшей в их класс на урок русской литературы: «...на столбовой дороженьке сошлось семь мужиков...» И характерное движение правой руки, будто она дирижирует певучими некрасовскими строками, а они, как ноты на нотном стане, где-то там, внутри обложки, на чуть выжелтевших страницах томика, повинуюсь движению руки, возникают вот тут, сейчас, сами собой: «...кому живется весело, привольно на Руси?»

Олег из телефонных разговоров знал, что настойчивость визитёров день ото дня возрастала, и уж не на мягких шинах подъезжали они к дому, родовому их гнезду. Называли её бабкой и просто-таки рекомендовали продать дом, обещая маленькую и уютную квартирку взамен, и сиделкой на всякий случай сулили обезпечить. Сиделку даже приволили. Сиделку звали Раузия. У сиделки ресницы и безо всякой туши исчерна-черны, брови срослись на переносице. А нос велик и ноздри — словно два пистолетных дула. Она без спроса прошла по дому и заметила: «А книг у вас столько! Соплошная пыль! Чего их дёржат?»

— Приедут? — спросил Олег.

— Я им сказала, что хозяин дому — ты. Они и поумерились. Тебя ждут с нетерпением.

Он действительно был хозяином. Все документы предусмотрительно, по настоянию Боли, давным-давно оформлены. И вот теперь надо что-то предпринимать. Надо ликвидировать собственность. Потому что Боля не может её содержать и охранять. Её самое охранять надо.

— Ну, а ты? Поедешь со мной? У меня в Лондоне квартира. Район чудесный, рядом с Кенсингтонским парком. Будешь рядом со мной.

— Нет.

— Ну почему?

— Я не смогу тебе объяснить.

— Боля! Я уже большой мальчик...

— Тем более.

— А если дом продадим, поедешь в однокомнатную?

— Не поеду. Меня там убьют. Раузия какая-нибудь и убьёт. У нас на стариков таких, вроде меня, всю охотятся. Об этом и в газете пишут.

— Боленька, милая, как же тогда?

— Попрошусь в Дом престарелых. Я туда ездила посмотреть. Там мальвы цветут. Фонтан, часовню освятили. И знакомых встретила. Помнишь, Марья Михайловна Ковешникова — заврайоно? Нет? Не помнишь? Я иду, а она сидит у фонтана, прохладается. Наговорились мы с ней... И кормят там прилично. Мне много ли надо? Посуди сам, Олеженька!

Ах, Боля, Боля... Милая баба Оля!

И тут приехали «эти». Олег открыл дверь. Звонил шкетик в сильно притемнённых очках, внешне как будто осклизлый. Когда Олег показался в дверях, шкетик скатился по ступенькам и с полупоклоном распахнул заднюю дверь припарковавшейся у крыльца чёрной туши «Мерседеса». Из автомобиля извлёкся не кто иной, как давний

знакомец, старый соперник Лёхан Бобовников, по уличному прозвищу Бобон, боксирующий когда-то, как и Олег, в полусреднем. Только Олег тренировался в «Динамо» у Фаина, а Бобон был спартаковцем, и тренировал его Сапилов. Непримиримое время, однако, тогда было. На первенствах не раз они сходились на ринге. Из четырех боёв три выиграл Олег. Он и последний бы выиграл, да рассечённая бровь сильно закровила...

Осклизлый, сделавший своё дело, повертел головой влево и вправо и юркнул в торируванную «Нексию», видимо, конвоировавшую «Мерседес».

— А-а-лег! Сколько зим, брат! А я и не знал, блин, что это — именно твой дом!

— Бобон щерился во весь, некогда щербатый, рот, поднимаясь по ступенькам и широко разводя руки для объятий. Прежней стальной фиксы взамен выбитого зуба не было. Во рту — патентованные чудеса зубопротезирования. И костюмчик под стать машине. Они приобнялись, и Олег учуял запах дорогого одеколона. Вот тебе и Бобон! В те давние времена Лёхан — гордый сын Сычужной слободы, что под стенами бойни, расхаживал в тренировочном трико с пузырями на коленях и клетчатой рубашке с надорванным карманом. Но когда это было? Лет прошло порядочно. После рассечения Олег ушел из бокса, погрузившись в учёбу и науку. А это, как говаривал тренер Борис Иванович, другая весовая категория. Так сказать, по морде и кулак.

Они прошли в гостиную. Уселись за столом. Всё чинно. Только Бобон не знал, куда длинные свои руки девать: то ли на стол положить, то ли под столом упрятать. Следом в комнату вошёл Флай. Не скрывая недоброжелательного недоверия, обнюхал брюки Бобона и улёгся рядом с Олегом, положив голову на лапы.

— Хорошая собачка, — заметил Бобон. — Породистая. Дорогая? Да? Дорогая же? Я вижу, что дорогая. А не укусит?

— Ну, если хорошо попросишь...

Поговорили о том о сём. Конечно же, он лукавил, будто не знал, кому дом принадлежит. Всё он знал. Не знал только, что такое Олег в теперешнем его состоянии. Сколько в долларах? Или в фунтах? Или в евро? Кто за ним? Есть ли кто-то? Или одна фуфлыга? Олегу это напомнило начало боя, когда боксёры, не знающие друг друга, пританцовывая, делают несколько шагов по рингу, примеряясь, с чего начать схватку. Кстати, Бобон дрался в левой стойке, потому числился неудобным соперником. Да и руки к тому же длинные.

— Во-от! — сказал Бобон. — Задумали мы, — загадочно и многозначительно прозвучало это «мы», — возвести, блин, торгово-развлекательный центр. Всё чин чинарём. С автостоянкой-этажеркой. И название даже придумали. «Товарищ» будет назваться. По месту. Тем более, тупик ваш целиком под снос идёт.

— Да?!

— Не думай плохого — по плану. Мы предложили, архитектор один московский начертил, а на горсовете утвердили. Да и слово «товарищ» хорошее. Хоть из прошлых времён слово, но хорошее. Проверенное. Наше. А тут как раз твой дом и вообще все остальные...

— Это ты сиделку подсылал бабушке?

— Да они козлы... Ничего поручить нельзя... я им роги пооткручивал уже. Веришь, всё сам должен делать? Сколько лет живём по-новому, а голова у них, блин, всё колхозной соломой набита. Пока по тыкве не настучишь, ничего толком не сделают. К бабам они зря полезли.

— Так ты строителем стал?

Олег знал, что Бобон подвизался какое-то время в тренерах, потом вроде бы стадионом заправлял.

Бобон извлёк из кармана позолоченную визитницу. Достал карточку. На ней он был поименован английскими буквами. Карточка также извещала, что Бобон теперь President of "Wolf Trading & Production". А над всем — пентаграммка, как у таксиста на брелке.

— Молодец! — сказал Олег. — А волк здесь при чём?

— Зверь хороший. Дружанов ценит. Если охотится, то стаей. А мы и есть стая. Ни от какой добычи нос не воротим.

— А по-английски почему?

— Меня тоже корёжило, а потом понял: так другой смысл обозначается. Да мы и на международный, блин, уровень хотим выйти. Во-от! Так ты в Англии, или где?

— И в Англии тоже.

— И чем же кормишься?

— Головой, — Олег усмехнулся. Вошла Боля:

— Не нужно ли чаю?

— Нет-нет, уважаемая, — отказался Бобон. Олег настаивать на угощении не стал. Рассказывать о том, чем занималась фирма — тоже. — Головой, говоришь? — ухмыль-

нулся Бобон. — Да и мы не задним местом. Возможности сами подворачиваются. Сейчас, блин, свобода кругом, — он повёл рукой, словно обозначил необъятный первобытный простор, ему подвластный. — Встаем мало-помалу в нормальную экономику. Первоначально — на стадионе у себя — рынок завёл. Вроде барахолка: китайщина да туретчина. А мани кап да кап. Завелись мани — другие к себе манят. Получился из рынка гипермаркет. Второй гипермаркет теперь собрался здесь, как раз на этом месте, строить. Налоги платим. Во-от! А твоя-то голова прибыль, блин, даёт? — в голосе Бобона слышалось плохо скрытое превосходство фатально успешного человека над собеседником, столь же фатально обречённым стоять на той же лестнице, только на много ступеней ниже.

— Нефть, — сказал Олег.

— Нефть — это да-а! — с неким почтительным изумлением в голосе согласился Бобон. — Мы хотели нефтью заняться. А тут такие, блин, растопыренные пришли ребята — и не подходит.

Олег подумал, что ему также приходилось видеть, как действуют растопыренные ребята, когда пахнет нефтью. В одной африканской полуреспублике-полумонархии довелось очутиться, когда вдруг, как бы ни с того ни с сего, возник передел рынка. В те дни газеты по всей Европе, правда, больше писали не о переделе рынка нефти и бокситов, но о некоем местном армейском капитане — главном борце за свободу, свергшем прогнивший трайбалистский режим. Олега и сотрудников его фирмы, а также других европейцев и двух японских энтомологов, вызволяли из зоны боевых действий французские парашютисты — большие специалисты по свободе, равенству и братству. Помнится, они ехали в сопровождении двух бронетранспортёров по вконец от демократизированной стране вдоль необрунных ананасных и кукурузных полей, а обочь трёхсоткилометровой дороги лежали вздувшиеся на солнце трупы соплеменников бывшего властителя этих райских мест...

— Визитка-то есть?

— Почему не быть, — Олег протянул свою визитную карточку. Никакого золота. Всё лапидарно.

Бобон повертел её в руках. Впечатления она явно на него не произвела. В визитницу прятать не стал, с несколько картинной небрежностью сунул в нагрудный кармашек пиджака. Олег подумал, что теперь люди Бобона начнут искать его фирму по электронным координатам, указанным на визитке. Пусть поупражняются. О нём информация и в интернете есть, и в общедоступной печати, и на специализированных сайтах. Для умного человека поводы для активного размышления наличествуют. Правда, на сайте навряд ли найдётся информация о прочих доходах. Меж тем, пока другие норовили обзавестись яхтой или замком и рассказывать менее удачливым российским лопухам, что теперь спят в постели Ричарда Львиное Сердце, Олег вкладывал деньги в акции и весьма удачно поигрывал на бирже. В список «Форбса» не входил, да и не старался. А что касается Бобона — его это проблемы. И тут звонил телефон. Собственно, не звонок, а песенка зазвучала какая-то приבלатнённая. Что-то про жигана-лимона. Сам аппарат выглядел не по песенке дорого, Бобон продемонстрировал его Олегу, картинно доставая из чехла и столь же картинно поднося к уху:

— А-лё! Слушаю! — и тут же несколько поменялся в лице, услышав голос звонившего. — Да, конечно же, конечно, конечно. Конечно... Да-да-да! По результатам отзвоню. Передам-передам, — Бобон отключил аппарат и ещё какое-то время вглядывался в погасший дисплей, будто пытаясь разглядеть в нём нечто сокровенное. — Николай Василич звонил. Велел кланяться.

— Кто такой? — спросил Олег.

— Вахонин. Мэр наш. Помнишь такого? — вопрос был задан вроде бы походя. Но привычно-плутоватое выражение лица выдавало неслучайность вопроса.

— Мэр, говоришь? Широко шагает... А вы с ним... друзья?

Бобон ответил не сразу. Он принялся тщательно протирать телефонный дисплей специальной салфеткой, стирая маслянистый след пальца, которым тыкал в иконку.

— Как бы это сказать... — Бобон ухмыльнулся. — Он при такой должности, что ему все друзья, у кого дело в руках. Тому и он руку протянет. А кто не друг...

Коля-Коленька Вахонин! Помним-помним. Как не помнить! Вихрастый гадёныш-комсомолёныш! Помнится, в последние советские годы он стал главным перестройщиком и запевалой кооперативного движения. Здание горкома ВЛКСМ превратилось в местный Гайд-парк, наполнилось людьми, которых в прежние времена из комсомола исключали за аморальное, по тогдашним нормам, поведение и неуплату комсомольских взносов со всех видов доходов. Двери отделов меняли привычные вывески. Например, там, где был отдел пропаганды, красовалась вывеска: «Кооператив «ДЕРЗАНИЕ». Тогда-то они и схлестнулись с Тулей, избранной в музыкальном училище секретарём комитета комсомола, а затем кооптированной в бюро горкома. В те дни

заседали много, часто и со вкусом. А ещё сближали выезды с шефскими концертами. Вахонин конферировал и речитативил под гитару палаточную лирику. Туля блистала в своём репертуаре. Пела с удовольствием. А кому, скажите, не понравится, когда слушают и хлопают от души. Оглушительнее других хлопали солдаты в танковом полку, за ними — курсанты школы милиции, наособицу — насельницы женской колонии-поселения, и с разбором — на вечерах самодеятельной песни. Надо сказать, что Коля умел нравиться. Рыжий его хохолок, звонкий тенорок, которым он с трибун пророчил скорое избавление от бед и бездефицитную жизнь как непереносимое следствие гласности и перестройки, а также простецкое взбрыкивание на гитаре, создавали вокруг него то, что теперь обозначают, используя церковное слово «харизма». Все были помешаны на слове «перемены» и ждали этих перемен, как ждёт звонка с урока отчаявшийся двоечник, чуя неминуемый вызов к доске, столь же неминуемую двойку в дневнике и такой же неминуемый разговор дома с отцом, привычным движением вытаскивающим ремень из брюк. Олег же и тогда, несмотря на молодость, был вполне аполитичен. Ни в какие скорые перемены не верил, полагая, что будущее не за любительским пением под гитару, но за симфонизмом знания и квалифицированного управления. Поэтому над «спевками», как он их называл, посмеивался. Оказалось, искусительную силу коллективного воспевания вольности и вседозволенности он недооценил.

— У нас тут так, — Бобон спрятал телефон, — власть во все дела вникает. Сам понимаешь: реконструкция города. А тут твой дом. И решение есть. И деньги...

— А соседи? — спросил Олег.

— С соседями... это... Они тутощные, — и опять Бобон ухмыльнулся. — С ними по-любому, блин, управимся. Это ты заграничный. Весь из себя, блин!

— Это так. Адвокаты у меня хорошие. И в Лондоне, и в Москве.

— Во! Сразу, блин, адвокаты...

— А ты как хотел?

— Нам бы желательно полюбовно. Продай. Или, хочешь, войди в долю. Дело верное: шесть кинозалов, два ресторана, всякие кафе-мафэ, бутики. И крыша хорошая — сам мэр опекает.

— Колянчик, — спросил Олег, — он что, в деле?

— Ну, ты и вопросы задаёшь! — Бобон осклабился. — Так проблему не обозначают. Сейчас, блин, не девяностые. Мы с коррупцией боремся. Я, например, член наблюдательного совета при УВД.

Да! Поотстал Олег от российских реалий. Сильно поотстал. Да и зачем гнаться? У него своя жизнь. Он — отрезанный ломоть. Житель Лондона. Не беглый олигарх, соряющий наворованными деньгами налево и направо. Но и не бедный человек. Даже по тамошним понятиям не бедный — что уж говорить про Россию. У него хорошая кредитная история. А спрос на зондирования месторождений, которые его фирма осуществляет, стабильно велик. И пока нефть в цене, исследования по оконтуриванию месторождений и разработанности пластов тоже будут в цене. Весь секрет в стоимости работ и достоверности данных, в тех самых компьютерных программах, с помощью которых обрабатываются полученные результаты. Тех самых, которые созданы и запатентованы самолично Олегом.

Поговорили о том о сём: о школе бокса, например, которую Бобон опекает. Вспомнили общих знакомых. И тут запел телефон Олега. Звонил Сэм. Олег перешел на английский и по лицу Бобона понял, что тот в очередной раз пожалел, что в школе балбесничал и английский не учил. А может, и не пожалел. Скорее всего, весь разговор Бобон писал на какую-нибудь неприметную штучку-дрычку, спрятанную на теле под костюмом. Во всяком случае, подобное не исключалось. И потому Олег, выслушав доклад Сэма, стал говорить, что столкнулся с sharks clutch.¹

— О! — удивился Сэм. — It is incredibly!²

У Сэма, увы, напрочь отсутствовало природное чувство юмора, столь свойственное британцам. Он был врожденным буквалистом и даже буквоедом, что, впрочем, гармонировало с интересами фирмы. Выслушал поручения относительно адвокатов, которые могут понадобиться. Олег понял, что Сэм записывает услышанное в компьютер — слышны были поклачивания клавиатуры, по которым он ударял наманикюренными своими ногтями. На этом разговор прервался.

Напряжение с лица Бобона сошло. И он вновь засиял зубопротезной улыбкой:

— Значит, договорились?

Олег пожал плечами:

— Мы и не начинали. Я приехал, чтобы проработать вопрос об открытии собственного бизнеса на родине. Мне нужна база, помещения под офис. Надо жить где-то, в конце-то концов.

¹ Акулья хватка (англ.).

² Невероятно (англ.).

— Ты кидаешь Лондон?! —

— Ничего и никого я не кидаю. Просто деньги требуют разнообразия. Как говорится, нельзя все яйца в одну корзину... А тут, я смотрю, есть куда инвестировать.

Олег блефовал. Это было похоже на то, как во время боя боксёр открывается, вынуждая противника ринуться вперёд, и ловит его неожиданным встречным.

— Ха-ха-ха-ха, — деланно засмеялся Бобон. — Нашёл куда... умные люди отсюда бегут.

— Значит, ты среди умных себя не числишь?

Взгляд у Бобона озледел. Видно, давно он чувствовал себя недостижимым для подобных боковых. Слишком дорогими выглядели зубы, слишком комфортабельным автомобиль, слишком услужливым тот обслуг, что звонил в дверь по его указанию:

— Так ты думай, Олег, думай! Здесь не Англия. Мы проще, блин, живём. По-свойски, — он вновь достал телефон, ткнул пальцем, дождался ответа и буркнул: — Слышь, выхожу.

Олег провожал его до дверей. Флай, как бы конвоируя, шёл следом. На улице выхода ждали. Два битка, караулы, посматривали в разные стороны переулочка, осклизлый уже распахнул дверь автомобиля. Увидев осклизлого, Флай зарычал. Это ни в какие ворота не лезло. Сроду пёс ни на кого так не реагировал.

— Флай, — укоризненно сказал Олег, — кто же так дорогих гостей провожает?

— Я не прощаюсь, — сказал Бобон и всосался внутрь автомобильной туши.

Осклизлый любовно прикрыл дверь за хозяином и на момент из-под приспущенных очков взглянул на Флая. Посмотрел, будто выстрелил. Глаза у него — как у вчерашнего таксиста. Чернющие, без зрачков...

Олег вернулся в дом. Боля лежала на кровати с закрытыми глазами. Но не спала.

— Поговорил, Олеженька?

— Поговорил. Ольга Порфирьевна, поговорил...

— Они разбойники? Ты, я вижу, знаком с ними?

— Не волнуйся, Боля. Всё будет хорошо.

— Я немножко полежу, ладно?

— Может, в поликлинику позвонить?

— Я таблеточки приняла... — голос у Боли осекается. И дыхание короткое, словно воздух не доходит до легких, завязнув в самом начале бронхов. — Ты никуда... не уйдёшь?

— Нет-нет-нет. Я побуду дома.

— Олеженька, обед приготовлен. Там. В холодильнике. Грибной суп. И курица. Как ты любишь.

В Лондоне он чаще всего захаживал перекусить в ресторанчик с традиционным, простецким меню: «Fish & Chips». Но это там. А здесь — дом. Пока ещё по-прежнему дом. Вот так: пока ещё... Бобон с его умопомрачительно-белыми и ровными зубами предлагает. Даже у Эма, при всей черноте его щёк, зубы не столь белы. Но каково предложение: войти в долю... Обладеть! Войти чем? Этими родными стенами из сибирской лиственницы, обложенными калёным до звонкости николаевским кирпичом? Этим двориком, где сирень, любимая мамина сирень, протягивающая весной сквозь кованую решётку персидские свои душистые соцветия? Или этим кабинетом? Он вошёл в кабинет и сел в кресло. В этом кресле, за этим столом саживал ещё прадед Порфирий Никитович. Сколько лет, а неукоснительный педантичный порядок, заведённый прадедом, довел над домом.

3

Однако порядок порядком, но будущего, судя по разговору с Бобоном, у дома нет. Что делать? Вступать в борьбу с местными разбойниками? Где гарантия того, что можно защитить права в российском суде, ведя процесс из Лондона? Да и во сколько обойдётся здешнее правосудие? Существует ли оно в принципе? Вполне солидные газеты Британии пишут о том, как неудобно живётся тем, кто пришёл в Россию заработать. Как говорится, пошёл по шерсть, а вернулся стриженным. Боля совсем плохая. Надо думать, что и как делать. Когда-то кабинет был святая святых, можно сказать, настоящей сокровищницей. Что бы ни происходило вокруг да около, сокровища стекались в неё большими и малыми потоками. К шкафам, переполненным книгами, подставлялись новые. Мебельная мода не играла никакой роли. Ещё прадед поставил первые, открытые ещё стеллажи и наполнил их книгами. Затем явились на смену шкафы остеклённые, и по мере наполнения добавлялись остеклённые же полки. Причудливая архитектура книг, хранящихся на полках, выражала самую суть их рода, начало которому положил мальчик-сирота, имени своего не помнящий, найденный о. Хрисанфом в кустах при дороге недалеко от Макарьева. Мальчик был взят в священническую бедную семью, назван Феодотом, или Богоданным, и взаправду им стал. Ибо после его усыновления

попадая Прасковья Ивановна восемь раз смогла благополучно разрешиться от бремени. А Феодот, Федичка, едва войдя в возраст и поразительно скоро овладев старославянской и русской грамотами, начал буквально вгрызаться в книги. С той поры книги стали в семье значить столько же, сколько иконы.

Для его сына Никиты, поступившего в учительскую семинарию и, как тогда говаривали, «зачитавшегося», иконы отошли на второй и даже третий план. А потом и вовсе отпали. Прадед же, Порфирий Никитович, начинал и заканчивал свой век «естественником». Ставя физические опыты в школьном классе и указывая на молнию, возникающую между шариками электрофорной машины, он вопрошал торжествующе: «Ну! Вы можете сказать, где здесь бог?» Он обожествлял знание как таковое. И по-детски радовался всякому новому известию о научных открытиях, а также любой технической новинке. По-настоящему радовался. Библиотеку продолжил собирать, но теперь с естественнонаучным уклоном. Разумеется, фундаментом служило собрание энциклопедий и словарей. То были солидные тома в чёрных переплётах, с ятями, создаваемые на века, безапелляционные в суждениях. Статьи для энциклопедий писали люди, уверенные в незыблемости миропорядка и абсолютной познаваемости всего сущего. Дальше шли книги и книжечки, так или иначе связанные со школой и педагогической деятельностью. Не обошлось и без классиков марксизма-ленинизма. Стоял краснощёкий ленинский многотомник. Теснились сочинения Маркса и Энгельса. Тринадцатитомное, неполное собрание сочинений Сталина отливало за стеклом своим переплётом цвета запекшейся крови. Радовали глаз ряды русских классиков. Здесь был академический Пушкин 1937 года издания. Лермонтов, столь любимый Бoley Некрасов. Тургенев, Чехов, Толстой — также в академическом исполнении. И так далее, и тому подобное. Весь, как напоказ, девятнадцатый век. И полный комплект литературы, которую Боля долгие советские годы втемяшивала в головы неучам, доказывая, согласно школьной программе, несомненные преимущества метода социалистического реализма перед всеми остальными методами постижения и отражения суровой, классово ориентированной реальности. Собираательству ничто не могло существенно помешать: ни революционные и послереволюционные сдвиги сознания, ни последовавшая гражданская война, когда город трижды переходил из рук в руки. Даже снаряд, выпущенный с красного бронепоезда и угодивший в стену реального училища, неразорвавшийся и застрявший в кирпичной кладке — что этот снаряд был по сравнению с невероятной и неистребимой жаждой познания, овеявшей в этих разномыслных шкафах.

Следует заметить, что часть книг все же во вполне определенные времена покидала привычные места. Некоторых философов и литераторов хранить в открытом доступе не стоило. Книги увязывались бечёвкой и откочёвывали во двор, в некогда каретный сарай. Там они отлеживались за поленницей берёзовых дров. В войну дрова изрядно поубавились. Но прадедов выученик Юрасик Матошин, занимавшийся спешным строительством линий электропередач для эвакуированных с запада заводов и потому вырубавший лесные просеки для прокладки ЛЭП, тайком отжаливал любимому учителю дровишек. Поэтому до сжигания книг в печке дело не дошло. А потом, по мере затухания свирепости режима, книги возвращались на полки. Так вновь явились миру и Бухарин, и Троцкий, и Бабель с его «Конармией», и все те, при обнаружении столь тщательно сохраняемой антисоветчины, могли стоять свободы, а то и жизни всем живущим в уютном учительском доме. Но, как говорится, бог милует. Правда, о Боге в доме разговоров не вели. И не потому, что это было запрещено. Но, скорее, потому, что задолго до теперешней жизни предок Никита усомнился. И ничего — так и прожил долгую жизнь, усомнившись. Хотя по законам того времени должен был посещать храм, исповедоваться и причащаться. Что он и проделывал, не подвергая сомнению собственное сомнение.

И что, скажите, делать с этим собранием мудростей и премудростей? Взять с собой, в Лондон? Но Олег разузнал ранее, что старые книги вывозу за границу не подлежат. Вот незадача! Неужто выбрасывать? Или распродавать? Или отжалеть какой-нибудь местной библиотеке? Скорее всего — последнее. А ещё был здесь шкаф и вовсе волшебный. Если за книгами нужно было нырять (потому что «по программе»), то у следующего шкафа Олег мог безо всякого принуждения проводить часы, разглядывая коллекцию минералов, собранную отцом в бесчисленных его поездках. Так отец несколько иронично называл геологоразведочные экспедиции, из которых привозил домой минеральные диковины; все эти жерла лимонита, нити хризолита, друзы дымчатого кварца, заставлявшие Олега грезить о пейзажах неведомых планет. Тут же лежал зашлифованный срез родонита — живописный красно-чёрный шедевр, в сравнении с которым никло любое, даже самое забористое, полотно какого-нибудь записного художника-абстракциониста. А рядом — небесного цвета узбекская бирюза, словно скол с купола самаркандской мечети, и кусок окаменевшей древесины, в котором рас-

тительные волокна замещены ещё в незапамятные времена лимонитом, малахитом и лазуритом. Одни названия чего стоили: арсенопирит, чукотский касситерит, агат моховой. Подле — кусочек кумакского кварца, внутрь которого будто кто-то из пульверизатора брызнул — россыпью желтели микроскопические вкрапления золота. Не было на полках только сувенира из последней отцовской поездочки. Не было. Потому что из неё он не возвратился.

За спиной постанывал во сне Флай. Боля рассказала, что приезжал из собачьей больницы ветеринар, осматривал пса и высказал предположение, что у собаки, скорее всего, рак. Предлагал привезти Флая в ветлечебницу сделать рентген, чтобы знать наверняка. Но по силам ли самой Боле такая поездка? Тогда врач предложил собаку усыпить укольчиком. Маленьким таким... Вот ведь беда! Собачий век много короче людского. Хотя по-разному случается. В доме всегда держали собаку. Даже во время войны. Того пса звали Рэм, он также был ирландцем и даже получал паёк, поскольку был породист и мог быть призван, в силу породистости, на фронт для разминирования. И с Флаем что-то надо было предпринимать.

Олег вышел во двор и открыл двери сарая. Здесь его ждала-дождалась «Ласточка». Так он про себя называл любимую свою машину — «Волгу М-21». Вот она: кремовый корпус и крылья! А крыша и оба капота — слоновая кость. Купил он её десяток лет назад, приехав навестить Болю по случаю, почти не торгуясь, у одной безутешной вдовы ушедшего в мир иной некогда всемогущего руководителя универсальной базы Облпотребсоюза. Сам владелец на ней и не ездил толком, поскольку положена персональная машина. А когда его после ревизии разбил паралич, и вовсе на много-много лет при полуживом хозяине машина осталась сиротой. Так что покупка была удачной. Вот её-то следовало забрать с собой, увезти из страны, в которой делать свои машины умудрились разучиться. Но это — потом, потом...

Флай вышел следом за Олегом во двор и, увидев, что ворота в сарай отпираются, завил хвостом, обрадовавшись, что хозяин наконец-то занялся делом. Не так много на его собачий век выпало охот, и он страдал, что его великодушные умения, накопленные предками, пропадают втуне. А потому всякий выезд в поле почитал самой великой радостью. Машина — это как раз самая верная примета надвигающегося счастливом мига. Сперва она выкатится во двор, и от неё будет пахнуть скверновато: застоявшимся железом, мышинными пробежками мимо колёс, поскольку мыши, подлые, в сарае плодятся и своевольничают. Но затем хозяин вынесет из дома ящик с припасами, плотной кожи футляр с ружьём, увязку с резиновыми сапогами по пояс, от которых, как ни намывай, всё равно поверх резины пахнет болотной ряской, выпевшим камышом и осокой, уже схваченной первыми предутренними морозцами. А ещё ляжет в багажник ягдташ — штука и вовсе древняя, но на утиной охоте — первостатейная. Объемистая сумка на ремне через плечо для разных разностей, отороченная самозатягивающимися ремешочками, удерживающими за шею добытую птицу. И патронташ. Не забыть бы патронташ! Да и как его забыть, когда в нём два десятка патронов двенадцатого калибра! А лучше двенадцатого калибра и не сыщешь. И если птица налетела, значит, будет и стрельба. А что может быть восхитительнее сдвоенного удара, если хозяин бил дуплетом, затем слаборазличимого, после ружейного грохота, плеска дробы, падающей в воду, и шмякания упавшего в камыши селезня. И все это Флай запоминал, обратившись в слух, потому что начиналась его работа, и он пускался в плавь, перебирая лапами, раздвигая носом камыш, вычувывая дух птицы, тот восхитительный запах добычи, который ни с чем другим спутать нельзя. А потом — торопливо к берегу, где ждёт хозяин, где его ласковый голос и рука, от которой раздражающе припахивает ружейным маслом, стреляным порохом и совсем немного кусочком копчёного сала, которым хозяин подзакусил, перед тем как отправляться в поле. Что может быть лучше охоты? Что? И не спорьте, глупые вы, глупые...

— Этто!! Залётный! — услышал Олег знакомый с давних пор низкий, будто окислившийся, голос соседа.

Двор соседнего дома отделялся щелястым забором, из соснового горбыля, почерневшего от времени. Была и калитка, закрывавшаяся с той и другой стороны на щеколду. С той стороны Олега окликал сосед Этто — эстонец, старый добрый приятель отца. Вообще-то звали его Юхан. А второе имя само собой прилипло, потому что почти каждую нечастую свою фразу начинал он со слова «этто», что в переводе на обычный русский означало «это». Он сам знал забавную особенность своей речи и вполне беззлобно откликался, если кто-то из коллег-заводчан окликал: «Этто! Угости табачком». Обычно в тон просьбе он лез в карман за сигаретами и говорил: «Этто можно». Олег откликнулся, щёлкнул щеколдой, и они пожали друг другу руки. Какое у соседа крепкое рукопожатие! Что значит, столько лет оттрубить слесарем-инструментальщиком на сверхсекретном некогда машиностроительном заводе. Даже теперь пальцы словно деревянные, а мышцы предплечья будто из стальных жгутов скручены.

Они уселись на лавочку у стола, вкопанного в землю, за которым в стародавние времена всей семьей усаживались летними вечерами гонять чай из самовара. Это было полез за сигаретами, но Олег, опередив, достал из кармана куртки сигарницу. Он как раз собирался выкурить сигару, а в доме этого делать не стоило. Флай, сообразив, что сборы на охоту откладываются, улёгся в сарае возле машины и стал слушать, как где-то у задней стены попискивают глупые мыши. Он и на самом деле не мог признать мышей умными, поскольку они не понимали того, кто в доме хозяин, и жили сами по себе. Мышей надо было бы переловить, но собачье ли это дело?

Дважды сработала гильотинка. Олег понюхал сигару. Это была превосходная никарагуанская Jaime Garcia, в меру плотная, тёмно-коричневая, или, как принято именовать такие, Maduro. Сосед было полез за спичками. Но Олег отвёл его руку с коробком. В кармане куртки припасена зажигалка. Да не простая, но с нитью накаливания. Специально для раскуривания сигар. Дабы запах спичечной головки или, упаси бог, горящего газа не осквернил её сладковато-пряный аромат. Закурили. Сигара и впрямь дивно пахла. Они вобрали первый дым и выпустили его. Юхан кашлянул. Все-таки, по застарелой курильщицкой привычке, он хватанул чуточку дыма на вдохе. Откашлялся. Посмотрел на Олега и спросил:

— Этто... надолго домой? — Олег пожал плечами. Ответ был принят. Они молчали и смотрели, как нарастал седой слой пепла на конце сигары. Через какое-то время сосед вновь заговорил: — Бабушка плохая. Совсем. Марта её смотрела. Дело идёт, сам понимаешь... Это нехорошо.

— Да, — согласился Олег. — Никудышные дела.

Юхан чуть повернул голову и посмотрел в глаза Олегу. Руки у него крепкие. Но лицом постарел. Морщины сделались рельефнее, глаза запали. Однако взгляд такой, будто глазами гвозди вбивает:

— Тебе, mees, надо возвращаться. Это так.

— Что? — переспросил Олег.

— Этто я по-эстонски. Значит, парень, надо возвращаться.

Дядя Юхан иногда произносил эстонские слова, и это было проявлением крайнего волнения. Как-то в юности Олег запустил мячом в соседский двор, и мяч упал на цветы, сломав любимые гладиолусы жены Юхана Дарьи Петровны. Тогда дядя Юхан произнес сверхдолгий, по его мнению, гневный монолог, но переводить не стал, сказав вышедшей во двор матери Олега, что по-русски это звучит грубее, чем по-эстонски. А Дарья Петровна, поохав над цветами, принесла Олегу на тарелочке вкуснющих пирожков с яблоками.

Они ещё посмаковали, повыпускали молча сигарный дым, и Олег спросил:

— Дядя Юхан, а почему вы не возвращаетесь в Эстонию?

— Этто хороший вопрос, маальчик, — он помолчал, набравши полный рот дыма, и будто пожевал. По крайней мере, желваки на скулах заходили. Выпустил дым тоненькой струйкой и продолжил: — Я ездил в Эстонию. Это хорошая страна, — он вновь затянулся. — Хоррошая. Таллинн. Остров Хийумаа. И ещё тысяча пятьсот двадцать островов. Там мой брат. Хотя я для эстонцев уже слишком руусский. Это я тут всё ещё немного чухонец... Правда, моя Дашенька лежит здесь. И сын... Он — ты помнишь — вернулся в ящике. С Кавказа. Осталась одна дочь. Марта. И этто... внуки. А зять... Он слишком... этто... еврей. И теперь в Хайфе. Вот и мы решаем: едем — не едем... Там у нас хуттор. А ты, парень, возвращайся.

Из дома выглянула Боля. Видно, стало полегче. Увидела Юхана, заулыбалась, помахала рукой, спросила — не надо ли чего. Юхан — хороший сосед. Дом есть дом. То одно, то другое. Мужская рука лишней не бывает. Юхан никогда не отнекивался, когда Боля просила о помощи. Вот и сейчас без его подмоги не обойтись. Сначала Олег перетащил к Юхану в его сарай аккумулятор, нуждающийся в зарядке. Сарай был только названием сарай. А по сути, мастерская, в которой в идеальнейшем порядке содержался разнообразный инструмент и всяческие прирамбасы, позволявшие Юхану, посапывая, делать по дому всё. Выпрямитель также имелся. Затем Олег перекатил к сараю все пять колёс, включая запаску. Компрессор у Юхана также наличествовал. Сам как-никак с незапамятных времён водителствует. Шины были накачаны, и колёса поставлены на «Волгу».

— Понимаешь, — заговорил вдруг Юхан, — эти люди обещают предоставить квартиру. Квадратура по социальной норме. И не больше. Дом всё равно под снос, — он поднял палец и повторил: — По социальной! Или требуют доплатить. Это так! Они — очень серьёзные люди. Всё по справедливости. Исключительно. И никак иначе. Этот мэр перед выборами говорил, что он за социальную справедливость. Он так говорил.

— А в Эстонии по-другому?

— В Эстонии вернули всё, что было отобрано при прежней власти. Даже камни.

Знаешь, мно-ого камней. Они растут на полях. Но это наши камни. Эстонские.

Вышла во двор белобрысая, раздобревшая после двух родов Марта — дочь Юхана. Врачиха. Разулыбалась. Пригласила на чай. Но Олег отказался и, поблагодарив, засобирался в дом.

— Ты всё больше похож... отец, — сказал напоследок Юхан. — Всё больше.

— Но он был, это, такой... мечтатель.

Отец действительно был мечтателем. Он мечтал — ни много, ни мало — открыть периодическую систему месторождений полезных ископаемых. На манер менделеевской системы элементов. Над ним в голос посмеивались коллеги-геологи. Но он упорно работал над картой, вычерчивал некие силовые линии, соединявшие далёкое месторождение Чукикамата в Чили и уральские меднорудные карьеры, алмазные трубки в Якутии и Южной Африке.

— Понимаешь, — горячась, будто препираясь с кем-то, говорил он Олегу, — случайностей в природе не бывает, всё построено на железных закономерностях. Железных!! Природа тычет носом в примеры таких закономерностей. Вот смотри: на небе солнце, луна, другие планеты, галактика в целом — словно часы. Галактика и похожа на часы — зубчик за зубчик — и всё крутится, словно в часах, — отец поддевал ногтём заднюю серебряную крышку луковицы — старинных карманных часов «Павел Буре», доставшихся ему по наследству от деда и отца — паровозных машинистов. Ими безмерно гордился и дорожил. — Видишь: ничего лишнего, хаотичного. Всё логично и закономерно. Причинно-следственные связи налицо. Налицо! Задача человека разумного, если он себя, конечно, причисляет к роду *Homo sapiens*, — разглядеть эти закономерности и поставить себе на службу. И на земле всё подчинено этой механике. В том числе и распределение минерально-сырьевых ресурсов в земных недрах. Ты это понимаешь? Запомни: всё на земле! — и он легко указательным пальцем постукивал Олега по лбу, будто вдавливал что-то в голову, повторяя: — Запомни: всё!

В свою, как оказалось, последнюю одиночную экспедицию отец поехал за платиной. Он уверял, что высчитал место, где она буквально лежит под ногами. Собираясь в поход, уталивая чудовищного размера рюкзак, повторял, что страна теперь будет на долгие десятилетия обеспечена и платиной, и платиноидами. Где-то там, в известном только ему месте в Восточной Сибири, путь его оборвался.

Пошёл дождь. Уже не лёгкий, летний, хотя лето всё ещё добирало свои законные августовские денёчки, но такой, при котором почему-то начинало думать о неизбежной, затяжной осени. Задул ветер. Капли ударили в окно и сползли вниз, будто некто невидимый облизывал стекло. Оставалось сидеть в кабинете и разбираться с семейным архивом: стопками писем, прихваченных выцветшими ленточками да бечёвочками, зажелтевшими фотографиями в тяжёлых альбомах, какими-то коммунальными счетами — всем тем, что копится и имеет смысл, лишь только пока человек, это собирающий и припрятывающий, жив и продолжает рассчитывать на будущее или на тех, кто это прошлое будет ценить.

Олег перебирал бумаги и раздумывал о том, что многое предстоит сжечь. Не выбрасывать же прошлую жизнь в мусор. А где жечь? Раньше дом отапливался двумя печами. А потом в тупик подвели трубу теплоснабжения, обмотанную белой жстью. Жсть регулярно воровали бродяги, промышлявшие металлоломом, и тогда миру являлась грязно-жёлтая теплоизоляция. Потому некогда уютный и по-своему стильный Товарищеский тупик обрел трущобный вид. Значит, надо жечь во дворе. Где-то в сарае, помнится, сохраняется самодельный мангал. Если купить уголь в супермаркете и разжижку, можно приступить к аутодафе. И он продолжал отбирать то, что представляло ценность только для него лично.

В стопку особо ценного попали фотографии отца, мамы, дореволюционные фотографии предков, и Олег впервые для самого себя поразился чувству достоинства на лицах дедов и прадедов: учителей и паровозных машинистов — по отцу, снимавшихся в одиночку и в семейном кругу. Качество фотографий, наклеенных на плотный картон, само по себе было отменным. А уж лица, лица... Другая жизнь шла в стенах этого дома и за пределами стен. Другими глазами смотрел на снимаемых клиентов «фотографъ Фишманъ». И они вверяли ему нечто большее, нежели просто некую совокупность носов, глаз, глухих, не декольтированных платьев, стоячих и отложных воротничков сорочек и блестящих пуговиц учительских вицмундиров. Внутренняя сторона обложки одного из альбомов была аккуратненько надорвана. Олег запустил пальцы под картон и вытащил выжелтевшую от времени и переизбытка фиксажа фотографию. Сначала подумал, что на фотографии он сам в клетчатой рубашке, с папиросой в зубах и кепке. Так было похоже лицо на фотографии на него, восемнадцатилетнего. Но сроду он не курил папирос и кепок таких не носил.

— Боля! Это кто?

Боля сидела у телевизора. На экране кувыркались льявта, чьи игры демонстриро-

вал иноземный канал о природе. Но звук был отключен. Она взяла фотографию, затем стала поспешно нашаривать рукой очки на рядом стоящем столе. Наконец нашарила. Нацепила на нос, да как-то криво, вгляделась, медленно опустила руку с фотографией на колени и сказала, словно бы сама себе:

— Николай.

Это было фото деда, маминого отца, самой загадочной фигуры в семье. Олег никогда его не видел. О нём не говорили. О нём даже и не молчали, как бывает, когда в семье умалчивают о ком-то из домочадцев, само упоминание о которых вызывает смятение, способное разрушить хрупкий мир. Его просто не было.

— Где ты нашёл?

Олег принёс альбом и показал, где таился портрет.

— Значит, Нина его берегла... — и, улыбнувшись тонкими, как бы выбеленными губами, добавила: — Конспираторша. С ума сойти можно.

— Боля, а почему ты никогда и ничего о нём не рассказывала? Почему вы всегда о нём молчали? Ни мама, ни ты, ни отец? Он что-то не то в своей жизни сделал?

— Сядь, — сказала Боля. И нажала кнопку «mute» на пульте.

Вернулся звук, доносившийся из саванны, где в густой выгоревшей траве беспечно резвились львята. Заговорил по-английски диктор, и поверх его голоса зазвучал голос актёра, произносящего дублированный текст. Машинально Олег отметил, что два текста не вполне совпадают, и это неудивительно. Ведь родной язык необыкновенно пластичен — говори и пиши, как хочешь. А у англичан каждое слово в предложении должно занимать строго отведённое место. Но и английский теперь для него стал родным. Почти родным. Он и думает-то по-английски. Вот и сон в самолёте казался ему странным именно потому, что был русским.

— Да, — сказала Боля, — Да. Теперь тебе надо сказать всё. Всё, как есть. Твой дед — разведчик, нелегал. Он где-то там, — и она указала невесомой своей рукой куда-то туда, в некую пространственную неопределённость, где пребывал этот Николай, на которого, оказывается, Олег был столь похож.

— Разведчик?

Вот что значит — взяться за переборку домашних архивов... Олег сразу вспомнил столь любимую им в детстве познавательную передачу, начинавшуюся пушкинской строчкой: «О, сколько нам открытий чудных...» Впрочем, это воспоминание промелькнуло, словно свет в окне поезда, который промчался сквозь непроглядную ночь мимо одинокого огня на железнодорожном переезде.

— Разведчик? — вновь повторил он.

— Да, — ответила Боля, держа фотографию перед глазами и разглядывая её. — Да.

— Так он где-то там? А ты всё это время... здесь? Одна?

— Да.

Боля всегда, сколько себя помнил Олег, была одна. Всегда одна. Статная, в шёлковом неизменном платье, которое обтекало её, будто вода, вылитая из ведра.

— Но он... Почему?

— У него был абсолютный слух и феноменальная способность к языкам. Фе-но-менальная. Немецкий, английский, испанский — легко, и французский с итальянским... Он впервые уехал в пятьдесят шестом, когда в Венгрии был мятеж. Потом вернулся... Потом уехал.

— И все эти годы?..

— Мы встречались... Нечасто. Ездили в Цхалтубо. И по Волге на теплоходе... И ещё...

— А здесь? Дома?

— Это было категорически запрещено. Категорически...

— А мама знала?

— Нет-нет. Для всех мы были в разводе. Мирный, необратимый развод, без истерик. Интеллигентный такой развод. И для Ниночки тоже... Она знала, что мы в разводе, что он, скажем так, бросил меня. Знала... А фото всё же хранила... И где она его раздобыла? Ах, Нина, Нина... — и Боля всхлинула как-то совсем по-старушечьи, без слёз.

— Прямо Штирлиц какой-то... А сейчас дед где? Он же уже старенький...

Олег вспомнил: Боля любила смотреть этот фильм, в котором красавец-актёр в чёрном, этакий советский эсэсовец, покуривая, обводил вокруг пальца киношных обаятельных фашистских костоломов.

— Я не знаю, где сейчас Николай.

Лицо Боли сделалось другим, каким Олег его никогда не видел. Он вдруг ясно представил себе... череп, с которого сошла вся плоть и стали видны провалы глазниц и височные впадины, и зубы — один к одному — и Олег, помимо своей воли, подивовался сохранности зубов. «Боля, Боля! — подумал Олег. — Любимая Боля...»

— Я не могла быть с ним там. Я — слишком русская. А Николай? Сейчас по телеви-

зору иногда рассказывают, будто какие-то наши разведчики перешли на ту сторону и раскрыли секреты про агентуру...

— Ты думаешь...

— Нет! Ты с ума сошёл! Нет! Николай — это невозможно! Только среди тех, кого предали. И сидит в тюрьме. Правда, я не знаю, в какой стране. Там у вас присуждают дикие сроки... типа два пожизненных. Я думаю, рано или поздно, если он жив, то вернётся. Ты же помнишь у Ильи Ефимовича Репина картину «Не ждали»?..

«Да, — подумал Олег. — Это у Ильи Ефимовича не ждали. А она ждала. Все эти годы ждала, нестигаемая моя Боля, бабулечка моя милая. И ждёт, ждёт, до сих пор ждёт...»

— Ты храни её, раз Нина сберегла. Храни, — и Боля поднесла фотографию к губам.

4

И тут залаял Флай. Да и было, отчего взлать: прямо под окнами завывали пожарные машины. На Товарищеском такого сроду не случалось, тихое было место, если не считать позабытой напрочь гражданской войны. Именно тогда отсюда по красному бронепоезду, вкатившемуся на недалёкий вокзал, била навесным огнём белогвардейская гаубица. А Ермолай Верёвкин, весь утянутый ремнями, недоучившийся студент-математик бывшего Казанского императорского университета, ушедший на фронт добровольцем и заслуживший там «География» и чин поручика, решительно рубил воздух рукой и кричал сорванным фальцетом: «Огонь! Огонь! Огонь!»

Так вот: именно дом миллионщика Верёвкина — батюшки бравого поручика и горел. Кстати, было чему гореть. Все дома в тупике ставлены из сибирской лиственницы и только обложены кирпичом. Полыхала лиственница истово, захлёб. Столб сизого с прочерною дыма, вытягивающий вслед за собой клочки пламени, вырос до низкого, облаками затянутого неба. Изогнувшиеся струи воды из трёх брандспойтов обрушивались, тут же испаряясь, в самую сердцевину возгорания. Без суеты, слаженно действовали пожарные, экипированные словно напоказ. Слышались переговоры по рации. Из соседних домов выглядывали жильцы, но на улицу не выходили. Дождь продолжал сеять, не переставая. Посреди проезда, перегороженного красными тушами пожарных машин, на откуда-то взявшейся простенькой табуретке, укутанный одеялом, нахохлившись, сидел профессор Натанзон — нынешний владелец дома бывшего купца Верёвкина. Олег, увидев, не поверил глазам: профессор, бывший даже в годы его молодости древним, словно Стена Плача, однако всё ещё жил. И, как переживший все, отведённые статистикой, мыслимые и немыслимые сроки проживания и в советской стране, и в теперешней новой, сначала демократической и уже последемократической России, подтверждал справедливость старой шутки, что есть ложь, а есть ещё и статистика. Он покачивался взад и вперёд, повторяя:

— Моя картотека, моя картотека.

Трубный, ветхозаветный голос его был слышен, несмотря на шум работающих двигателей, переговоры пожарных и треск пламени, пожиравшего калённые временем стволы лиственницы и лопающиеся от жара кирпичи. Выдавленные жаром, вылетели из рам и разбились оконные стёкла, пламя взвилось с подвыванием, заохали соседи, окружившие пожарище, а профессор всё повторял:

— Моя картотека! Моя картотека.

Иерихонским своим голосом он был славен в городе не менее, а может быть, даже и более, чем двенадцатью монографиями и знаменитой картотекой, о которой прилюдно и столь громогласно он сейчас сокрушался. В прежние достославные времена на партконференциях, когда собравшиеся коммунисты должны были хором исполнять «Интернационал», профессор, можно сказать, солировал. Он один звучал за половину зала и почти весь президиум, да к тому же, в отличие от многих, наизусть знал слова этой прославленной песни от начала и до конца. В последние перестроечные годы, не надеясь на память членов КПСС, организаторы включали магнитофон. Пел неведомый хор. Можно было и не стараться, а только открывать рот. Но профессор Натанзон всё равно пел во весь голос. За это пение его ценил и лично почти уважал сам товарищ Багно — первый секретарь. Правда, и недолюбливал именно за его памятьливость, так как сам никак не мог запомнить слов сочинения Дегейтера. Да и музыкальным слухом злодейка-судьба его обошла. За трубные эти звуки первый даже почти прощал профессору его неистребимую еврейскость.

Но, конечно же, главную роль играла картотека, которую профессор составлял всю свою долгую и плодотворную научную жизнь. Картотека состояла из систематизированных выписок из трудов классиков марксизма-ленинизма, выступлений вождей мирового пролетариата, руководителей партии и правительства, глав братских и не очень братских компартий зарубежных стран, например, товарища Кваме Нкрума или такого же товарища Самора Машел, статданных, передовиц газеты «Правда» и многого другого-всякого, без чего не складывались фундаментальные доклады пер-

вого секретаря и его предшественников на партконференциях. Даже когда совласть исчезла, профессор продолжал вести свою картотеку, в которую старым пёрышком «скелетик», обмакивая его в старорежимную чернильницу, по привычке заносил на картонные карточки высказывания новых вождей. Бисерным почерком он как бы припиливал, словно насекомых в коллекцию, все благоглупости и пьяные оговорки президента Ельцина, афористичные как бы бессмыслицы Черномырдина и прочих, как он говорил сам себе, членистоногих рангом пониже и душою помикроскопичнее. Сюда же попадали также наиболее завиральные высказывания господ журналистов, возмнивших себя ветхозаветным пророком Иезекилем. Лазарь Моисеевич, несмотря на самоочевидную изношенность тела, ветхостью ума отнюдь не страдал. Он понимал всю ценность выписок. Поставленные в ряд, они в совокупности рисовали развёрнутую картину отнюдь не случайной гибели страны, в которой его, профессора Натанзона предки (о чём он никогда не позволял себе забывать) числились людьми из-за черты. Он предвкушал эту, завершающую книгу, которую издаст, заранее наслаждаясь таким знакомым и лаковым запахом типографской краски и клея — лишь бы денег на издание найти, — предвкушал, как выскажет, наконец, всю правду, а ему уже никто и ничего за эту правду, которую он таил всю жизнь, сделать не успеет. И вот теперь его картотека возносилась сизым дымом на веки вечные в небеса *этой* страны: «Моя картотека. Моя картотека».

Боля также вышла на крыльцо и стояла, держась за дверной косяк.

— Олежек, позови Эсфирь Марковну с профессором к нам. Что же они там... Господи! Вот беда-то... Они их всё-таки сожгли...

Олег, не дослушав, сбежал по ступенькам. Эсфирь Марковна, тётя Фира, как звал в детстве Олег, давняя коллега Боли, прекрасная математичка, жена профессора, стояла подле, переминаясь на своих больных, отёчных ногах. Слёзы безостановочно лились из её в молодости восхитительно-изумрудных глаз, так хорошо сочетавшихся с рыжими, от природы выходящими волосами. Она беспрестанно поправляла одеяло, сползавшее с плеч профессора, не обращая внимания на командовавшего тушением пожарного в каком-то космическом шлеме, на полыхающий дом и струйки дождя, сливающиеся с её слезами. Сейчас вся она без остатка была сосредоточена на её Лазаре:

— Май клэйнникер! Майн клэйнникер! — повторяла она беспрестанно слова на давно, казалось бы, забытом ею идише и снова поправляла стёганое атласное одеяло — то единственное имущество, что удалось им захватить с собой из дома, мгновенно охваченного огнём.

— Моя картотека, моя картотека! — вторил гулким голосом профессор.

Олег уже готов был позвать их с собой, но тут в проезд на полном ходу завернули, едва не столкнувшись, сразу две автомашины. Одна — блистающая огнями неотложка. Другая — демонически чёрный «Лексус». Из неотложки буквально выпрыгнули врач и фельдшер, из «Лексуса» — человек с густой чёрной бородой, в чёрном костюме и чёрной же широкополой шляпе. Олег решил, что врач вызван к профессору. Однако медики, повинувшись команде пожарного, с носилками побежали во двор горевшего дома. Олег только теперь заметил, что ворота раскрыты, а в воротах маячил пожарный в мокрой робе и каске, забрало которой было поднято. А человек в чёрной шляпе подошёл к безутешным старикам. Только сейчас Олег уразумел, что это раввин. Людей в такой одежде он не раз встречал и в Лондоне, и в Нью-Йорке.

— Убирайте ваш «Лексус»! — тоном, не предполагающим возражений,скомандовал человек, руководящий тушением.

— Хорошо-хорошо, — согласился раввин, а сам что-то говорил тихонечко Эсфири Марковне.

— Да убирайте же! Вы мешаете!

— Кто бы спорил, — вновь согласился раввин.

— Моя картотека! — продолжал меж тем профессор. — Моя Картотека!

— Пойдём, Лазарь, пойдём!

Но профессор не желал двигаться с места. Тогда раввин попытался поднять профессора с табуретки, поддерживая его под локоть. Профессор, и без того грузный, сейчас и вовсе огузнул.

— Что же вы стоите, молодой человек! — обратилась к Олегу Эсфирь Марковна. — Таки помогите же.

Слёзы застили ей глаза, и она вряд ли разбирала, кто стоит пред ней.

— Машину, говорю!

Олег взялся за другой локоть. В этот момент пожарный, врач и фельдшер начали выносить на носилках из ворот дома нечто чёрное и мокрое.

— Машину, говорю вам! — в голос вновь скомандовал пожарный.

Раввин и Олег подняли профессора с табуретки, а он не прекращал повторять: «Моя Картотека», — только совсем севшим голосом. Одеяло поползло с его плеч вниз.

Жена подхватила и нахлобучила сверху, так что вышло некоторое подобие капюшона. Но идти старый профессор уже не мог — ноги отказывали ему вовсе.

Водитель неотложки выскочил из кабины и ухватился за одну из ручек носилок, помогая врачу. Только сейчас Олег сообразил, что на носилках лежало сильно обгоревшее человеческое тело.

— Май клэйнинкер, — бормотала Эсфирь Марковна, придерживая одеяло, норовившее сползти наземь.

— Мы вас туда... — втолковывал раввин профессору, указывая головой на автомобиль, и они с Олегом, можно сказать, волокли его к машине.

Теперь взывала неотложка и начала пятиться для разворота.

— Машину убирайте! — рявкнул пожарный. — А то я сейчас...

Что именно должно было случиться сейчас, он не успел сказать, так как именно в этот момент рухнули внутрь дома горящие стропила, и в небо взметнулся столб огня.

Погрузив профессора в «Лексус», Олег повернулся. Боля стояла, прислонившись к дверному косяку. Около соседнего дома под огромным чёрным зонтом немым извятием застыли Юхан и его белобрысая дочь Марта. Олег вспомнил, что Марта была некогда женой Арика — внука профессора Натанзона. И почему-то именно сейчас возник в голове вопрос: «А поменяла ли она фамилию на девичью?» Глупый вопрос, дурацкий. Зачем он сейчас? При чём здесь Марта, когда сгорел дом и, можно сказать, целая жизнь? Вот так: не властен человек над тем, что порождает его же сознание. Этим он и отличается от компьютера. Компьютер не задаст с бухты-барахты вопрос сам себе. А тут вопрос, взявшийся именно сам по себе, как бы ниоткуда. Взял и возник. Может, потому, что Юхан и, что удивительно, Марта стояли и даже не пытались хоть как-то помочь профессору.

А той порою пожар уже сделал своё дело, языков огня не было видно, но пожарные продолжали лить воду внутрь парящих уже развалин. Олег почувствовал, что дождь хорошенько его намочил, и решил, что пора бы вернуться в дом. Он шагнул и вдруг почувствовал чей-то взгляд. Повернул голову вправо и увидел за два дома на крыльце... Тулю. Ошибки быть не могло: это она, бывшая его любовь и жена, стояла на крыльце своего дома, кутаясь в платок, хотя холода не чувствовалось.

Олег завёл в дом Болю. Видно, она замёрзла. Он включил чайник:

— Я тебе чаю...

— Не надо. Я лягу. Ужас-то какой... Они его сожгли... сожгли... Там у меня в шкапчике валерьянка, — Олег нашел пузырёк и накапал в рюмочку капли на глазок, разбавив водой. Боля проглотила, поморщившись, только спросив: — Сколько накапал?

— Я не считал, — ответил Олег, накрывая её пледом.

— Молодец, — улыбнулась она. — Не пожалел.

— А кто профессора сжёт, ты говорила?

— А... Когда младший Натанзончик укатил, дом стал велик, старики половину дома продали. Купил какой-то мутный человек. Дал приличные деньги. Сам поначалу тоже прилично выглядел. А оказалось, из партии.

— Какой партии?

— Из новой какой-то. Название не помню... Что-то либеральное... нет... либертарианское... И вечно у них дым коромыслом: то речёвки во дворе к митингу очередному репетируют, то шашлыки жарят. Или машина около дома с репродукторами на крыше встанет. Запустят песню про какой-то поворот во всю ивановскую, выстроятся за машиной пять человек в две шеренги — и на площадь, под самые губернаторские окна. Демонстрировать... Вот и допелись...

Слаба, совсем слаба стала Боля. В прежние времена могла запросто кинуться пожар тушить. А тут стояла тихонько на крыльце, опершись плечом на косяк. И даже к подруге и бывшей коллеге своей Эсфири Марковне не сошла, чтобы хоть как-то утешить. Но на язык, как и в прежние поры, всё ещё остра. Она лежала под пледом такая маленькая, совсем девчонка только седина, эта седина... Олег присел на краешек кровати у Боли в ногах. Ну, что с ней делать? Что! О каком доме престарелых она говорит? Что за дом? Там, откуда он приехал, чтобы начать процесс ликвидации всего того, что связывало его с родовым гнездом, сдача стариков в пансионаты была делом привычным, даже вполне респектабельным. Но в России? Ведь в этих богадельнях, как и везде, воруют.

Олегу сразу вспомнилась смешная сцена визита великого комбинатора в богадельню и то, как встречал Остапа Бендера голубой воришка Альхен. Там, на Западе, много и охотно в газетах живописуют поголовное воровство и коррупцию в бывшем СССР. Олег попервоначально довольно скептически относился к подобным утверждениям, не без оснований отмечая в журналистских писаниях очевидную предвзятость. Иногда даже вступал в споры с людьми, слишком усердствовавшими в критике всего, связанного с Россией. Правда, последнее время поостыл. Вполне возможно, потому, что сам вну-

тренне уже дистанцировался от России. Ведь его почти ничего с этой страной не связывало. Одна только Боля. Да ещё могила мамина. И ещё — неизвестно где — останки отца. Это — то немногое, что ещё теплилось в его душе. Но одна только утренняя встреча и душевный разговор с Бобоном были убедительнее всяких журналистских измышлений. Да... поотстал он от загогулин дорогого отечества и патологического стремления некоторых сограждан непременно, во что бы то ни стало, вопреки здравому смыслу, заделаться респектабельными и непременно состоятельными членами так называемого цивилизованного мира. Ох, как он поотстал... Олег уже давно жил там, на Западе, и успел понять, что человеческая сущность неизменна, где бы ты ни жил: в относительно прибранном Лондоне ли, в замызганной ли африканской глуши, или в курортном раю какого-нибудь Барбадоса.

— Олежек, — позвала Боля. — Ты Наташу видел? Она на крылечко вышла.

— Да.

Он видел её. Видел. Совсем неожиданное, прямо-таки потустороннее видение. Все-го лишь случайный поворот головы. Всего лишь взгляд, скользнувший и запечатлевший эту проклятую им женщину, на том самом крылечке, на котором он совсем давно, в жизни забытой, запрятанной в самый дальний чулан памяти, поцеловал девочку, малышечку ещё, но уже вполне оформившуюся телесно. В тот момент ему показалось, что их глаза встретились. Хотя что из того, что встретились... Мало ли с кем встречался он глазами. Он вспомнил чёрную виноградинку, совсем юную нигерийку, стоявшую в ожидании заработка на обочине пыльной дороги, по которой ежедневно проезжал на своём джипе, обдуваемый холодным воздухом из кондиционера. Пришлось притормозить, так как дорогу переходили длиннорogie и необыкновенно важные коровы. Олег невольно залюбовался чуть влажной от выступившего пота кожей эбенового цвета красавицы. Фигура африканки, обтянутая белой тканью, была выше всяких похвал. Взгляды их встретились. Взгляд был таков, что Олегу захотелось открыть дверь джипа, поманить её в салон и уехать, куда глаза глядят, вместо того чтобы, проклиная жару, заниматься бизнесом, чёрт бы его подрал, и заняться совсем-совсем другим.

А теперь вдруг, откуда ни возьмись, появилась его бывшая жена, которую он любил безмерно, до сбоев сердечного ритма, которая также любила его или уверила себя и его, что любит, а сама прикидывалась, имитировала всё, как это умеют женщины. Но они расстались, расстались, чёрт побери! Расстались, потому что нельзя было прощать измену. Нельзя! Он порвал с ней резко. Хотя казалось, что их-то любовь ничто не может разорвать. И все эти годы он забывал всё, что их свело, что сплело в единую нить. Он забыл её. Вспоминал и снова старался забыть. Сначала заставлял себя. Гнал — погонял воспоминания о ней самой, её улыбке, о её теле. Он забывал, как был счастлив тем молодым, животным счастьем, которое имеет свойство однажды разом, словно остро наточенным, палаческим топором отрубленное, бесповоротно заканчиваться. И это закон жизни, и это со всеми случается. Хотя... хотя вот она, Боля, и его секретный дед... Выходит, что все эти годы, истраченные на безнадежную разлуку, она любила его. И, похоже, до сих пор любит?

А мама?! Все говорили, что её убил не рак, но бесследное исчезновение отца. Тоска её убила. Немыслимо, невысказанно, невысказанно... в голове не укладывается.

— Она приходит ко мне посидеть, чайку попить, — сказала Боля.

— Да?

— С полгода, как вернулась со своих северов.

Олегу захотелось сказать что-то едкое. Но зачем? Он давно решил, что забыл эту женщину. Но само желание съязвить по её поводу вдруг обнаружило, что забывание не вполне состоялось.

— Очень она любит пить чай из своей чашки. Помнишь: ты ей на день рождения подарил чашку с розами Дулёвского завода?

— Цела?

— И очень даже цела. Вкусная чашка. Я её берегла. Никому не давала из неё пить. Она и Флая прогуливали вечерами...

Олег вспомнил, как Туля отпивала чай маленькими глоточками, прикасаясь к чашке губами, и это выглядело очень эротично. Интересно: какая она сейчас? Пообмякла, пообвисла, пообтёрхалась?

— Она с семьёй здесь? — спросил Олег.

Но Боля не ответила. Она уснула тем мгновенным, однако, почутким сном, которым засыпают совсем старые люди, чья жизнь уже не непрерывна, а напоминает строчку письма, состоящую из одних тире. Олег собрался вновь усестись за разбор архивов в кабинете, как вдруг в дверь позвонили. Он, чертыхнувшись, отворил. На крыльце стоял худой, весь какой-то дёрганный человек в насквозь промокшей куртке. Протянув руку, он зачастил:

— Здравствуйте! Я — Кошель. Вы про меня слышали? Вам бабушка должна была

рассказать.

— Здравствуйте. Простите. Не слышал.

— Ну... Как же, как же! Я — Кошель, — вновь повторил он, как бы впечатывая свою фамилию в память Олегу. — А это, — он повернулся и показал на парящие ещё остатки дома, — моя партия. Штаб-квартира, ага! А? Как вам это? Нравится, скажите, а? Нравится? Не нравится! У вас, в лондонах, разве жгут партии? Не жгут! Там свобода, а здесь жгут! Демократию жгут! Бандиты жгут, что во власть пробрались! Бандитёв, уркаганы, последыши комсомольские! Во-о-от!

Около остатков дома всё ещё стояла пожарная машина, ходили люди в форме, перемигивались сине-красными бликами два «УАЗа» с надписью «Милиция». Кошель громко, чтобы слышали люди в форме, буквально продекламировал, указывая пальцем на Олега:

— Здесь человек из Лондона. Он живой свидетель. Сегодня о поджоге расскажут по Би-би-си! Сегодня же!! Мы не дадим! Замолчать не выйдет, — и, дернувшись лицом и всем своим тщедушным телом, обращаясь только к Олегу, добавил: — У вас же должны быть телефоны Би-би-си в Лондоне?

— Олежек, кто там пришёл? — услышал он тихий Болин голос из глубины дома.

— Человек из сгоревшей партии, — ответил Олег, вновь чертыхнувшись, но не вслух и уже почему-то по-английски.

— Мы не сгорели! Нет! Мы подобны птице Фениксу! — возгласил Кошель пафосно, вновь полуобернувшись к людям в форме и при этом драматически вздевая руку.

— Учите! Демократия неубиваема! Всё на контроле у Лондона! Мировая демократическая общественность бдит! Единоросы ещё ответят за всё пред судом истории! — и, дернувшись опять всем телом, доверительно обратился к Олегу: — Помогите. Что вам стоит? Партия в долгу не останется. А я пойду документировать, — в руке он держал плёвенький фотоаппаратик. — О! Прекрасная точка съёмки с вашего крылечка! Всё как на ладони. Преступление налицо. Бормотова жаль. Мой боевой, самый боевой... Сгорел заживо. Мученик за дело партии, за демократию, — и, обращаясь к полицейским, прокричал: — Народ ещё поставит памятник своим героям! На площади! Бронзовый! Ленина вашего снесём! А героям — воздвигнем!

— А старики?

— Ну, старики... Натанзон, хоть и еврей и только поэтому должен был быть на нашей стороне, но коммунист до костей мозга... Жаль, конечно. Но коммунизм и его адепты уходят с политической сцены, — и он вновь дёрнулся

Олега поразило слово «адепт».

— А кем вы раньше были? До партии?

— По образованию — учитель истории. Но изначально предрасположен к политическим эксцессам. Потому по молодости лет — в комсомоле. Под руководством мэра теперешнего, перерожденца — инструктором в отделе пионерских организаций. Я и жену вашу по комсомолу помню, — Кошель дёрнулся, будто отменяя сказанное. — Бывшую, конечно. Так вы поможете с Би-би-си?

— Вряд ли, — ответил Олег. — Я далёк от СМИ.

— Жаль-жаль. А я рассчитывал... — он опять дёрнулся. — Но на материальное содействие партия может рассчитывать? Видите, что с нами сделали?

— Вы считаете, это не случайно?

— Они нас боятся, — Кошель вновь задержался, завскидывая руками. — Особенно мэр. Он народу не доверяет. А народ ему.

— Гражданин Кошель, эй! — окликнул его какой-то официальный чин, вышедший из двора сгоревшего дома. — Тут помощь ваша нужна...

5

Вечером, в одиннадцатом часу Олег решил прогуляться с Флаем. По английскому обыкновению взял с собой бумажный пакет, совочек и маленький веничек — замести собачьи погадки, как в Кенсингтонском парке, где везде расставлены зелёные урны с нарисованной на них собакой. Пёс понял, что хозяин являет высшую милость — идёт с ним на прогулку — ожил, завилял хвостом, принялся искательно заглядывать в глаза, поскуливать и вертеться возле коробки из-под обуви, в которой сберегались ошейник с выдавшей виды своркой и даже намордник. Хотя всякий раз, когда речь в его присутствии заходила о наморднике, негодовал и всячески сопротивлялся наступлению на свободу выискивания и ухватывания ожидаемой добычи.

Они спустились по ступенькам. Флай ступал тяжело, по-старчески. Тупик был пуст. И вдоль него разгулявшийся ветер гнал с пожарища густой запах гари. Само пожарище обнесено желтой лентой, совсем по-иноземному. И они пошли по тротуару в сторону чахлого сада, который испокон веков звался «Собачьим». Они шли, не поспешая, потому что Флай должен, по обыкновению, определить место, на котором

следует оставить метку — а это требует и собачьей вдумчивости, и осмотрительности. А затем надобно добраться до следующего пункта, где, возможно, некто хвостатый также оставил свою запись о пребывании. Пёс ковылял, но неукоснительно исполнял священный ритуал обозначения подведомственной ему территории. Олег хмыкнул: ничего скоро от этого мира не останется. Ничего. И следов твоих, пёсик, как и моих, не останется. Скоро дома будут разрушены, лиственничные срубы, скорее всего, вывезут в местный элитный посёлок, где их переберут (лиственница — дерево нескончаемое) и отстроят терем или даже теремной городок в новорусском, воровском стиле. И ничего не останется от этого милого заповедника потомственной провинциальной интеллигенции, исконные обитатели которого, несмотря на неоднократные прополки и прореживания и вполне обязывающее название тупика и даже текущую политическую конъюнктуру, старались, тем не менее, не употреблять слово «товарищ» в соседском, межличностном общении. Но обращались друг к другу исключительно по имени-отчеству, если не считать, конечно, профессора Натанзона. Тот любил это слово и несколько педалировал его, обращаясь даже к своему, теперь уже бывшему, эстонскому родственнику.

Олег с Флаем минули уже крыльцо дома, на котором Олег днём увидал Тулю, как за спиной узнаваемо клацнула дверная щеколда и столь же узнаваемо проскрипела дверь. Он, оказывается, всё помнил. Даже столь малозначимые звуки почти усопшего дома, в котором обитала женщина, которую все эти немалые годы он старательно забывал. И, как ему казалось, забыл-таки. А вот поди ж!

— Флай!

«Лихо! Не Олег, но Флай, — усмехнулся сам себе Олег. — Туля в своём репертуаре Лисы Патрикеевны».

Флай дёрнулся. С одной стороны — вожак есть вожак. Это он понимал хорошо. А с другой — женщина, которой он доверял выгуливать себя. Но вожак поводка не натянул, и он, поворотивши, пошёл на зов. Ну, что поделаешь с этой собакой? А ничего не поделаешь, поскольку он заточен на услужение и ласку. А тут так ласкающее: «Флай». Пёс знает эту манящую интонацию — последнее время частенько, да, почитай, каждый вечер, выходил гулять с этой женщиной, которая, ясное дело, не хозяин и хозяином даже не пахнет, а пахнет тем, чем обычно пахнут женщины — всякой ерундой. Набрызгают, набрызгают на себя невесть что и думают, что это хорошо, а собака — нюхай, губи нос. Но кусочки сырой говядинки у этой всегда были припасены.

— Здравствуй!

Туля вышла на крыльцо:

— Возьмите меня погулять, — сказала запросто, будто и не было меж ними ничего такого, о чём следовало не забывать. И, не дожидаясь ответа, сошла по ступенькам. — Ты мне не рад? Какой ты...

— Какой?

— Заматеревший.

Да, он знал, что заматерел. Не растолстел, но раздался в кости. Регулярные занятия в тренажёрном зале пообвесили его мышцами. Олег был в той самой поре, когда женщины не просто скользили по нему взглядами, а словно спицей кололи. А она сама будто не изменилась. Всё такая же, легко ступающая, подобранный живот, высокая, вызывающе выпирающая грудь. Конечно же, не может же быть всё, как в молодости, а всё равно хороша девочка-стервочка, Натулечка, изменщица, потаскушечка. Из-за неё, из-за спевок её комсомольских, из-за них он бросил всё и укатил, и покатылся, и за рубеж махнул.

Они миновали уличный фонарь, и он поневоле скользнул глазами на её шею. Шея у женщин — самое уязвимое место. Выдаёт, продаёт, выказывает. Это не грудь: нечто поддерживающее, какой-нибудь корсет с косточками для шеи не придуман. Тут на выручку какое-нибудь ожерелье либо платочек шёлковый, завязанный лихо в стиле «чёрт поberi! Чем старше шея, тем богаче, замысловатее должны быть средства камуфлирования. Но это на выход, в свет, так сказать... Поздним же вечером, в Товарищеском тупике... Косыночка разве? Эдак небрежно, полушутя. Почти по-девчоночьи... Но у Тули никакой косынки. Всё открыто, откровенно, запросто.

— Что? Постарела?

Вот и губы не крашены. Или крашены — разбери-пойми в темноте. Ляпнуть про шею? А зачем? Жгучее некогда желание причинить ответную боль давно поухло. Их горячая, до истерик, любовь разом остыла, когда он наткнулся на проклятые почеркушки на комсомольских бланках. В конце концов, он давно своё поражение компенсировал. И его нынешняя, как бы это поточнее сказать, партнёрша вполне приемлема в постели и, кажется, любит его. Хотя кто их, женщин, знает: любит или не любит. Это нефтяные пласты в глубинах земных можно и должно исследовать инструментально и обрабатывать полученные данные на компьютере. А вот к человеческой

душе компьютер не присоединишь. Разве только полицейский полиграф. Хотя и полиграф над душой не властен. Он утоляет жажду Нады — сръбкини¹ из Черногории, вода её на концерты в Альберт-Холл, за обновлениями в «Marks & Spenser» и прочие капища потребительства, возя в скучную, донельзя карнавальную, патентованную Венецию и всякие подобные достопримечательные, открыточные места, куда ездят все, потому что туда ездят все. Но и довольно, и хватит. А что касается любви — есть ли она? Он тотчас же вспомнил ошеломляющее откровение Боли. Но бабушка из другой, неземной, непостижимой генерации людей.

— Как бабушка?

— Не важнец.

— Она ещё с месяц назад была куда бодрее.

Так-так! Холодно сперва, а теперь чуть теплее, чуть теплее. Она начинает с бесспорного: Флай, а следом Боля. Они идут рядышком по тротуару, по которому ходили в школу, а потом прогуливались под ручку, а потом... Флай плетётся рядом. У него свои собачьи задачи. Но он внимательно прислушивается: много знакомых слов, а в звуках речи — напряжение. Он любил и умел слушать разговоры людские. Придут к Боле подруги, он уляжется, голову на лапы и задрёмывает под старушечьи перетолки. Правда, бабу Галаганову не жаловал. Она говорит-говорит, а интонация голоса с проносимыми ею словами не совпадает. А ещё она Флая боится. Он чует заячий запах страха — и чего бы ей бояться! Вот и хозяин, и эта... они и не бояться, а всё едино — что-то у них не в ладах.

— Ты надолго со своих северов?

— Я? Навсегда. Всё. Хватит. Вернулась вот домой, а дом под снос. Грустно. И странно. Скоро ничего не останется от нас всех. Ни-че-го. Тебе так не кажется? Или ты, как в старой песенке, отряхнул прах со своих ног?

Прямо перед ними, посреди тротуара сидел мохнатый чёрный котище. Завидев Флая, противу кошачьего обыкновения, не встал на четыре лапы, не вздыбил шерсть, не вздел хвост, обозначая непримиримую вражду. Он просто сидел. Словно он и никто иной есть повелитель сгущающейся тьмы в Товарищеском тупике

— Знаешь, — сказала Туля, — всякий раз, когда я Флая выгуливала, он появляется откуда-то. Сидит и ждёт, когда мы подойдём.

— Он чей?

— Как бы и ничейный.

Кот будто их поджидал. Флай, почуяв царапающий ноздри, насквозь чуждый дух, подобрался и, несмотря на немощи, благовоспитанность и врождённый миролюбивый нрав, изготовился к противостоянию. Они продолжали идти, и Олег вдруг ни с того, ни с сего подумал, что кот ждёт именно его приближения. Флай — вот чудо — взрыкнул. И потянул Олега вперёд, хотя сроду на кошек не реагировал, только презрительно косился. Когда столкновение стало почти неизбежным, кот в один прыжок, молниеносно исчез в густых кустах шиповника, растущего обочь тротуара. И что удивительно — ни одна веточка не шелохнулась, словно кот бесплотен, всего лишь сгусток ночной тьмы, принявшей форму кота.

— Хор-роший котик, — только и сказал Олег.

— Прямо нежить какая-то... Как он скакнул! У меня даже мороз по коже. Я такая суеверная стала, когда мама умерла. Ты знаешь, что она умерла?

— Знаю. Боля рассказала. Прими соболезнование.

— Так страшно она умирала. Тяжело. Я ведь и вернулась домой ещё из-за того, что она умирала. Задышалась и всё просила кота с горла прогнать. И слова последние были — хвост, хвост. Никогда не думала, что она так тяжело будет уходить. Я после этого кошек бояться стала. Всех усыпила. Вызвала ветеринара. Плакала, но заплатила за четыре укола. Помнишь, всегда я в маму кошатницей была... А сейчас не могу.

Конечно же, всё помнил Олег. Как не помнить этот кошкин дом! У Олега дом изначально охотничий, поисковый, собачий. Тулин же — напротив — мягко ступающий, мяукающий. Три-четыре кошки всегда царственно разгуливали по комнатам, нежились, плодились и размножались. И милостиво позволяли хозяйке, некогда «приме» местной оперетты, обманываться — считать себя главной персоной в доме. А она, в шелковом халате, расписанном золотыми райскими птицами, ступала павой или возлежала на оттоманке на фоне старинного туркменского ковра, который, по её словам, был некогда преподнесён ей в Ташкенте за Сильву, как она любила повторять, «одним восточным деспотом». Мужей поимела энное количество. Последний, которому отдала лучшие свои одиннадцать лет на излёте артистической жизни, был дирижёр театрального оркестра. Он на спектаклях картинно вздымал чёрные рукава фрака, словно взлетал, взлетал, да так и не взлетел. Но однажды, после семейной интерме-

¹ Сербка (сербс.).

дии взлетел раз и навсегда. С той поры были только кошки и никаких котов. Лёгкой, с виду, женщиной была покойная тёща. Это Олег помнил хорошо: «Ах, Олежек, вам не понять, что такое аплодисман! Вино, вино, полусладкое шампанское! Но никогда, понимаете, никогда не холодное. Голос, голос, голос — превыше всего. Голос — это высокая судьба! Ах, Олежек, пузырьки газа в вине! А вино — непременно в узком и высоком бокале! Умопомрачительно! Никогда не могла простить тех, кто шампанское может пить из чего угодно, даже из гранёного стакана. Ни-ког-да!» Она почти не скрывала своего неодобрения их свадьбы и покрывала любовную связь дочери, как видно, предоставляя «гнёздышко» для счастья, поскольку не верила в способность Олега стать чем-то кроме как заурядным инженерчиком.

— Впрочем, ты маму не любил — я знаю!

— Какое это теперь имеет значение, Туля?

— Ты помнишь моё имя?

— Я всё помню.

— Ты там... не один?

— А ты как думаешь?

— Зная тебя, думаю, что да. Я думаю, женщины не должны давать тебе проходу. Или там всё не так? По-иному? А почему ты не спросил о моей жизни? Тебе она неинтересна? Я помню, ты всегда был только со своими компьютерами и программами...

— Думаю, и ты не одна.

— Конечно, конечно... Не могла же я бесконечно ждать, когда ты простишь меня за... за... ни за что...

— Так ты на своём Севере разве не вышла замуж?

— Ты... нарочно?! Или забыл?! Мы же с тобой официально не разведены.

И это он помнил отчётливо. Неоформленный развод и ему не позволил урегулировать вновь возникшие отношения с одной. Потом с другой. А потом оказалось, что так проще — не обременять себя узами Гименея. Вот и сегодняшняя его подружка...

Они дошли до забора, за которым был пустырь, заросший бурьяном. Когда-то здесь начиналась роща, спускавшаяся полого к реке. Роща не так себе, а мемориальная. В ней в приснопамятном 1905 году проводили свои маевки, под видом выпивки на природе, местные инсургенты. А их с гиканьем разгоняли нагайками казаки, а потом ловили по кустам городовые. После революции роще безуспешно пытались привить имя «Кровавой». Но название не прирастало, поскольку крови особой не было, если не считать расцарапанных физиономий городских, гонявшихся по чапыжнику за вёртками злодеями. Остановились на Красной. Во время войны Рощу изрядно проредили самовольные порубщики, приходившие ночами по дрова. Потом, при последнем издыхании соввласти, на проплешинах рощи решено было построить большой капитальный цирк, для расширения городского культурного пространства. Рощу принялись изводить, ввиду устарелости и якобы болезненности деревьев, под ропот немногочисленных городских протестантов-экологов и громокипящие выступления профессора Натансона, рокотавшего о непреходящей исторической ценности того места, где в муках и терзаниях, под зловеющий свист казачьих нагаек, зародилась местная социал-демократия. Роща была обречена, но тут грянули перемены. Те, о которых, надрывая голос, шаманил смугловатый, узкоглазый молодёжный поп-идол. Идея цирка обернулась пшиком. И вот теперь новая идея — торжище, фигурально выражаясь, на костях разрушителей империи.

— Что тебе предлагают в обмен на дом?

— Деньги. Какие-то бандиты всем этим заняты...

— Дружки вахонинские...

— Ты такой злопамятный?

— Я не в этом смысле. А на Севере чем занималась?

— Сначала в музыкальной школе. Потом — заместителем главы администрации города по социальным вопросам. Я постарела?

— Прекрасно выглядишь. Фигура и всё такое... У тебя дети?

— Помнишь нашу рыбалку?

— Ещё бы.

— Когда мы вернулись... когда мы вернулись... В общем, я там забеременела.

— Ты? От меня?

Звонко, с размаха Туля влепила Олегу пощёчину. Гавкнул Флай.

— От тебя, Отелло, от тебя. Можешь не сомневаться. Ты тогда и говорить со мной не хотел...

Да, он не хотел говорить с ней, видеть не хотел. Слышать не хотел. Даже тогда, когда Боля пыталась заговорить с ним на эту тему. Всё для него обрушилось, когда попала в руки непотребная пописушка на фирменном именном бланке комсомольского вождя, этого страстного ускорителя перемен. Подвернувшееся лестное приглашение

в Москву в некую околосомольскую же инженерно-внедренческую фирму оказалось, как никогда, кстати. А дальше было дальше. Сорвался в одночасье. Жил на тычке, в общежитии МИФИ. Неожиданно для себя оказался при постоянно дешевеющих деньгах. Перешёл на доллары. Снял комнату на Молчановке. Потом и однокомнатную квартиру в Тёплом Стане. Разбавлял одиночество с одной вертлявенькой. Познакомился с презабавным англичанином. Он предложил поработать в Англии... И закрутилась пыль колечком.

— Вы, мужики... — и она заплакала.

— И ты... родила?

— Уйди... Нет, постой. Ты должен знать... Я, дура малахольная, сделала аборт. На последних сроках — всё надеялась. Всё думала, ты вернёшься. Там был мальчик. А я была дурой. А ты — сволочью.

— Туля... — щека у него горела. Тяжёлая у Тулечки рука...

— Да, Олежечка, да, сволочь ты моя ненаглядная. Надеюсь. А потом сделала. Ты знаешь, что такое аборт на последних сроках?! Знаешь?! Знаешь?! Когда из тебя по кускам достают... По кускам... Ты ничего не знаешь! Ничего!!

Ничего...

Туля плакала. От слёз лицо сделалось каким-то... неопрятным. И не только из-за растекшейся краски. Надо же, теперь Олег окончательно ощутил, что годы, разделившие их навсегда, не пощадил эту девочку, перед которой сердце его некогда замирало. Покурочили годы, пожамкали молодую, некогда нестерпимо желанную до дрожи женщину. А значит, и его не пощадил. Хотя, бреясь перед зеркалом, каждое утро он поневоле всматривался в своё отражение и не находил пока признаков начинающегося старения.

Флай вслушивался в разговор и никак не мог понять, что происходит между вожаком и этой самкой, что-то зло говорящей и пахнущей резко чем-то непонятным и раздражающим всё ещё чуткий собачачий нос.

Они вернулись к крыльцу дома. Плакать Туля перестала, только всхлипывала:

— Ты зайдёшь? У меня чай...

Они вошли. Флай прошёлся по прихожей, обнюхал углы, откуда продолжало тянуть неистребимым кошачьи духом. В комнаты не пошёл. Ему стало неприятно от того, что его завели туда, где так сильно пахло кошками. Откуда собаке знать, что после расставания со зверьками хозяйка извела уйму моющих средств, избавляясь от застарелой кошатины. Туле казалось, что задача решена. Но у Флая было свое восприятие запахов. Кроме всего прочего, он чувствовал себя совсем плохо и улёгся носом к входной двери, из-под которой тянуло уличным духом.

— А может быть, — сказала Туля, успокоившись и даже подправив макияж, — мы с тобой немножечко коньячку за встречу? У меня есть хороший. Армянский. Говорят, твой Черчилль любил армянский. И сигары любил. А ты куришь сигары — мне бабушка рассказывала, какой ты важный с сигарой.

— Я с собой не взял свои... Дома остались.

— А я купила на всякий случай...

— Да-а-а?!

— Вот! — и она принесла металлический пенал, в котором покоилась царственная «Гавана».

— Тогда давай и коньяк.

Появился и коньяк, и два коньячных бокала, и тарелочка с виноградом, и непочатая плитка бельгийского шоколада. При свете лампы стали заметнее начавшиеся обрушения на её лице. Пока ещё ничего, терпимо, но Олег знал цену этого «ничего» для женщин. С каждым прожитым днём цена возрастала. Они, молча чокнувшись, отпили коньяк, и Олег подумал, что армянский ничуть не хуже, а может быть, и лучше своих французских собратьев потому, что нет в нём неких парфюмерных оттенков. Мужской напиток. Кстати, Туля сделала добрый и тоже «мужской» глоток, отметил про себя Олег. Похоже, Туля уловила его реакцию:

— Там, где я жила и работала, не принято было мизинчик оттопыривать да жеманиться.

— Работа тяжёлая?

— Социальная сфера... сам понимаешь. Хотя откуда тебе понять! Ты же теперь инопланетянин! Наливай ещё...

И она снова выпила до дна. Олег вспомнил, что некогда, в достославные времена армянский коньяк был питьём не всех и не каждого. Да и шоколада бельгийского также не было. Только «Алёнка» и «Гвардейский».

— Так кто у тебя теперь?

— В каком смысле?

— Ну, кто она? Я хочу выпить за неё, счастливницу...

Флай уловил нелюбимый запах спиртного и понял, что ждать придётся долго, и счёл за благо задремать, хотя боль, живущая в нём, не отступала. Но он сжился ней, понимая по-своему, по-собачьему, что боль — это тоже часть его жизни, как воздух, сквозящий из-под двери, как вьёвшийся во всё, буквально во всё этот кошащий дух, как вожак, которого он так ждал и дождался вопреки всему, даже вопреки боли. А ещё он чуял с самого первого момента после возвращения вожака, что рядом с ним, за его спиной пребывает некто такой, разглядеть которого невозможно, но только именно учуять. Одно плохо; понимал он многое из того, что люди говорили, тем более что старая женщина постоянно с ним разговаривала на разные темы, но сказать ничего не мог и теперь решил, что следует неотступно следить за этим невидимым и хоть как-то, из последних собачьих сил попробовать отпугнуть, отогнать.

И Туля была хороша, и коньяк вполне соответствовал моменту, и «Гавана» располагала ко всему, что можно себе вообразить. Но Олег понимал, что надо идти. Немедленно уходить. Этот коньяк, эта загодя припасённая «Гавана», эта женщина. С ума сойти, если правда то, что она сказала про аборт. С ума сойти. Значит, все эти годы он мог быть отцом парня. Он жил бы в этом городе. Работал бы инженером, воспитывал бы ребёнка. Или двух? Всё было бы по-другому. А теперь он то, что есть. Нет, надо уходить. Встать и уйти. Совсем и бесповоротно. Но пред ним женщина. Кто скажет, что это не так? А тут совсем некстати армянчик. Славный такой армянчик. И загодя припасённая сигара. И голос у Тулечки с лёгкой хрипотцой. Нет-нет, надо уходить, хотя это может походить на бегство. Ну и пусть. Кому нужна доблесть там, где её быть не должно. Он ведь в Лондоне не один. Но это Лондон. Где он? Нет такого города на карте! Хотя он есть и там его ждёт женщина Нада из сказочного городочка Пераст, распластанного по берегу Которского залива. Хорошая, ласковая, жадная до его ласки славяночка. Свято, однако, соблюдающая инструкции патентованного средства для контрацепции: «Я хочу быть сначала женой и венчаться в православной церкви». Уезжая, Олег пообещал, что развяжет застарелый узелок и оформит развод, чтобы жениться на ней. Правда, сам не очень верил в возможность развода, поскольку никак не ожидал встретиться с Тулей. А вот встретились: коньяк сигара, они одни, если не считать Флая. И они всё ещё законные муж и жена. Нет-нет, надо уходить. И Туля тоже понимала, что идти ему надо непременно, потому что сочувствовала страху старой женщины, оставшейся одной в пустом доме и ждущей, когда щёлкнет замок и застучат по крашеному полу когти Флая. Но почему, почему она должна, почему она всё время должна уступать? Старухе — старухино. В конце концов, у неё уже давненько не было мужчины, да и до того тоже толком не было при её собачьей должности, когда живёшь у всех на виду, на виду, на виду в этом чёртовом городке, где всё у всех на виду. И не уединишься, не удеришься, не спрячешься, разве только на машине, с персональным водителем, с этим Санечкой — будь он неладен, кобелья порода... Да ещё в отпуске на море в Турции... Как Санечка, наглец этакий, всякий раз её упрашивал взять его с собою в Кемер! Как упрашивал! А зачем он ей в Кемере... В Тулу со своим самоваром... Туля в Тулу — ха-ха. А тут Олег — ах, Олег; такой, такой... как она чувствовала его, даже не прикоснувшись и пальцем... А он... Сидит и тянет сигару. И она чувствует, что он вновь ощущает в ней женщину. Она же знает его до мельчайшей жилочки.

Олег допил коньяк и начал подниматься с кресла. И она тоже встала. Встал на лапы и Флай: «Пойдём, мол, вожак, а то засиделись».

— Завтра, — сказал Олег. — Давай, до завтра.

Туля подошла и положила ему руки на плечи.

— Ты знаешь, Олежечка, сколько дней мы с тобой не были вместе?

— Не считал.

— А я считала. Сначала годы. Потом дни. Умножала... С ума сойти — на совещании сию в президиуме и столбиком умножаю. Меня спрашивают, что я вычисляю. Говорю — расчеты делаю бюджетных расходов на социальную сферу на будущий год, — Туля продолжала говорить свою несурязицу, удивляясь сама тому, что говорит. Ведь ничего этого и в помине не было. Просто она понимала: как только она замолчит, Олег уйдёт. — А хочешь, милый мой, я и минуты посчитаю?

Олег молча поправил прядочку крашенных волос, выбившуюся из причёски на лоб.

— Одиножды один, одиножды два, одиножды три...

Когда они с Флаем крадучись вернулись домой, оказалось, что Боля не спала. Она сидела перед телевизором и внимательно смотрела передачу на англоязычном канале «Russia Today». Комментаторша, бойкая женщина, на вполне сноском английском терзала вопросами двух собеседников на предмет соблюдения прав человека.

— Боля, — удивился Олег, — ты знаешь английский...

— Sp-so, — ответила Боля. — Иногда не спится... В сущности, смешное занятие в мои-то годы. Но наша участковая терапевтша сказала, что изучение иностранных языков тормозит нежелательные процессы в коре головного мозга. А ты припозднился. И

коньяком от тебя пахнет...

Олег пошёл в спальню. Следом процокал когтями Флай. Телевизор умолк. Олег закрыл глаза и тут же вновь, вновь, вновь, только в ускоренном, как в кинотрюке, темпе прожил то, что произошло между ними: чистой воды безумие, зверское какое-то действо, когда уже перестаёшь понимать, что с тобой происходит. И когда всё кончилось, когда она положила голову ему на грудь и обняла, он вдруг ощутил еле уловимый кошачий дух, которым пропитано было в этом доме всё, включая старинный ковёр во всю стену спальни. Или это показалось ему? Как он, с его носом, протравленным сигарным дымом, мог чувствовать то, чего в доме уже не было? Этих кошек, кошачьих, кошечек с розовыми бантиками на шеях? Как?! Ведь ничего этого не было. Или всё-таки было? Почуввав кошатину, он встал и начал одеваться. Одевшись, наклонился, чтобы поцеловать.

— Да, — только и сказала она. — Я всё понимаю. Да, — и заплакала.

Хотя ничегошеньки она не понимала, потому что всё напускное глубокомыслие и гроша ломанного не стоило пред этой наполненностью, дившейся, казалось бы, вечно и одновременно непозволительно коротко. Хотя эти совсем немногие минуты бабьей удовлетворённости, униженно выпрошенной, выцарапанной, уворованной у какой-то неведомой женщины, были её минутами. И ничьими ещё. Флай уже поднялся и ждал.

— Мы будем разводиться? — Олег молчал. — Только учти, развода я тебе не дам. Не дам. Ты мне самой нужен, — Олег продолжал молчать. — Молчанием ты не отделаешься, мой милый.

Олег молча вышел из дома, затворив дверь. Замок чвакнул, автоматически отсекая то, что произошло за дверью только что.

6

Рано-рано Олег проснулся и тут же начал надевать приготовленную ещё со вчерашнего дня охотничью справу. Щёлкнув двумя замками, извлёк ружьё и патроны из сейфа. В холодильнике ждал своего часа пластиковый контейнер с припасёнными Бoley бутербродами и котлетами. Флай запереступал лапами, застучал когтями, завил хвостом. Нос его не подводил. Так, как пахло оружие, не пахло ничто другое. Даже патроны фабричной выделки пахли столь обольстительно, что он подвизгнул от радости. А впереди... А впереди роскошно пахнущие стреляные патроны, выдавленные из стволов экстрактором и брошенные на землю... Вот так! По этому случаю даже немочь от него отступила, будто понимала всю свою неуместность в столь радостный, можно даже сказать, великий собачий день. В машине Флай занял своё законное место на заднем сидении, но Олегу пришлось подсаживать его, хотя в прежние времена он легко вспрыгивал туда сам. И они отправились в Орлов Угол, предварительно заправив машину на призывно иллюминированной заправке, увенчанной знакомой по Британии аббревиатурой «BP».

Ехать предстояло за полторы сотни километров, в то заветное место, где когда-то, пацанчиком ещё, взятый на охоту отцом, он открыл для себя всю прелесть лёгкого утреннего тумана над гладью старицы и услышал ни с чем не сравнимый звук пролёта пары крякашей, сорвавшихся из наспевших камышей. И этот прозрачный туман, воспаривший над серебряным изгибом старицы, и томящее ожидание нового пролёта, враз и навсегда запечатлелись в памяти. И теперь, когда ему всё-таки приходилось размышлять о Родине, в самом высоком смысле этого слова, он в первую вспоминал стелящийся над водой туман, стремительный пролёт уток над водой и красную закраину неба, откуда всходило осеннее, совсем не жаркое солнце. Ехать можно левобережьем, по тракту, проложенному в незапамятные времена. И потом переправиться на пароме. Но асфальт областного значения хорош только на картах «Атласа автомобильных дорог СССР». Как известно, в те времена карты издавались со сдвигом относительно истинного местоположения, специально для шпионов, дабы ввести их в заблуждение относительно направления движения. Потому Олег не стал даже заглядывать в книгу, лежавшую со времён первого владельца машины в кармане сиденья. Слава богу, есть теперь гутловская карта и снимки из космоса, на которых видно всё до самых мельчайших подробностей. И потому поехал правобережьем. Именно здесь пролегла новая дорога, проложенная нефтяниками по нефтяным полям, что некогда были полями хлебными и тем только и славились.

Никто и не предполагал, что в глубинах земных, накрытая плотными колпаками синклиналей, накапливалась тысячелетиями нефть с подпирающим её газом. Во время войны, когда немцы железными пальцами совсем было передавили кавказские нефтяные жилы, и тут попытались нефть отыскать. Но острота момента спала. Работы свернули — не по карману были изыскания. Геологи вернулись сюда в шестидесятые. И — о, чудо: нашлась нефть. Да какая! Не чёрная, дурно пахнущая, вязкая, с большим содержанием битумов и серы, но светлая, схожая цветом с кофе со сгущёнкой. Возделенное сырьё для переработчиков. И пошло-поехало! Газетчики загомонили о

втором (или третьем-четвёртом) Баку! Заворочались в полях тяжёлые машины, намазывая чернозёмом на колеса и траки, пшеница попятилась, покорно уступая нефти. На излюбленных хлеборобами ланах раскорячились буровые — вожаденные объекты фоторепортёров, гораздых снимать закатное солнце сквозь ажур вышек. Зачастили в область небожители из Кремля. Ещё бы! Доллары, доллары, доллары сулила нефть стране победоносного социализма. А для области — дополнительные деньги в бюджет и ассигнования на строительство жилья и объектов т.н. соцкультбыта, в значительной части так, в конце концов, и не построенных. А всё потому, что подступила беда: нефть подешевела на мировых рынках. Для победившего, казалось бы, бесповоротного социализма бездонные небеса враз показали с овчинку. Впрочем, Олегу при его малолетстве все эти обстоятельства важными не казались. Он и не думал о них. Это сейчас он знал всё или почти всё о нефтедобыче, котировках, цене фьючерсов и неких тайных силах, управлявших нефтяными потоками,

Дорога, и вправду, была по российским меркам славная: с твёрдым покрытием и свёртками к промыслам и установкам по первичной обработке нефти. В прежние, советские времена обочь дороги во множестве пылали факелы, сжигавшие попутный газ. Теперь, если и виднелись изредка не факелы, а факелочки, то только в качестве запальников при возможных аварийных сбросах. Судя по всему, теперешние хозяева здешней нефти ничего мимо себя не пропускали. Но и лишнего, по их мнению, не делали. Потому-то дорога изрядно трачена брюхатыми нефтевозами. Нынешние владельцы — так сказать, теперешние соотечественники Oleg(a) — нигде ничего не пропускали мимо хватучих рук. Машина катилась вдоль промыслов, где нефтяные качалки неустанно и день, и ночь вытягивали из-под земли всё новые и новые порции добытого. Олег усмехнулся: качалки чем-то напоминали ему правоверных иудеев, молящихся пред Стеною Плача в Иерусалиме о даровании им всяческих благ, известных только молящимся да внимающему им таинственному и незримому Богу.

На подъёме Олег обогнал огромную автоцистерну, и салон наполнился запахом свежедобытой нефти. Флаю это решительно не понравилось. Всё-таки многое из того, чем пахли разные разности, имени которых он не ведал, да и некоторые люди, оскверняли его представление о гармонии жизни. Вот и люди, что вчера являлись в дом, пахли тем, от чего дом и хозяина и старую женщину надо оберегать. Даже дым, который выпускал изо рта хозяин, пах неподобающе. Но то — хозяин, вожак! Одно спасение — уйти в другую комнату или к входной двери. А лучше всего — во двор. Машина также пахла не шибко приятно, но она всё-таки часть дома, место, входящее в зону его личного пространства и ответственности. Тут уж не до пристрастий, хотя, что и говорить, кухня, где властвовала старая женщина, не в пример лучше. И хотя в последнее время сама мысль о еде не вызывала, как в прежние времена, прилива слюны, всё равно он с благодарностью облизывал пальцы старой женщины, когда она потчевала его кусочками мелко изрубленной курятины. А теперь и вовсе: пёс дремал на своём законном месте в машине и знал наверняка, что они едут туда, где можно будет побегать, может, даже поплыть за трепыхающимся в воде подранком. А главное, отыскать на окраине перелеска одну известную только ему траву и с помощью этой травы извлечь боль, истерзавшую его.

Олег же думал о том, что рассказала ему Боля про своего мужа — деда, которого он никогда не видел и о котором ему никогда и никто не рассказывал. Повзрослев, Олег начал предполагать, что за молчанием скрывается некая, вполне возможно, скверная семейная тайна. Что-то вроде того, что у англичан принято называть «скелет в шкафу». Но такая!! Дед — разведчик, шпион! С ума сойти. Совершеннейшая фантастика! Но Боля! Все эти годы жить в ожидании... Смирять себя во всём и, прежде всего, в желании разделить с кем-то своё одиночество, поискать утешения в беседе с близкими, просто расплакаться. Хотя кто знает — плакала ли она ночами? Ведь наверняка плакала и страдала безмерно. Только ему, Олегу, это было неизвестно. Да и не интересовало его тогда это вовсе. Он воспринимал жизнь, как данность. Подрастал, выросл. Ему вполне хватало собственных переживаний и тайн, связанных со взрослением. Уже тогда он полюбил, да-да, полюбил свою соседку по парте, которая жила за два дома от него. А ещё, конечно же, любил отца и маму. Завидовал отцовым отлучкам в дальние экспедиции и радовался редким моментам, когда отец заводил своего верного «козлика» — списанный и восстановленный ГАЗ-69, и они ехали за тридевять земель в со- всем, по тем временам, далёкие края по тряским дорогам да непролазным просёлкам в самые утиные места. Или зимой через сугробы по санному следу к санным зародам и соломенным ометам, опоясанным заячьими следами. Там спешивались и шли вдоль посадок в надежде на заячий выскоч.

Олег старался соответствовать оказанному доверию. Шёл по другую сторону посадки, увязал в снегу, выбиваясь из сил в попытках не отставать от споро шагнувшего отца. Шёл и покрикивал, выгоняя зайку на выстрел. Сколь ни хитёр заяц, сколь ни

бела шкурка заячья, укрывающая его в чапыге, а человеческого крика боится. Хотя, казалось бы, чего бояться краснощёкого пацанчика в шапке, постоянно сползающей по мокрому лбу на самый нос, и его слабого ещё покрякивания. Однако шугались зайцы, взмётывались в прыжке и выскакивали на открытое пространство. И тогда отец вскидывал курковую «тулку». Ахал выстрел, и в морозном воздухе повисал клуб дыма от стреляного дымного пороха. Отец мазал редко, и домой они возвращались с парочкой, а то и тройкой матёрых русачков, успевающих закоченеть за время обратной дороги. Мама обычно ворчала по поводу предстоящей возни с зайчатиной, которую надо теперь вымачивать и «вообще одна морока с этой дичью, которую никто не ест». Однако, съедали за милую душу да ещё и нахваливали маму за мастерство, которое всем любю.

Откуда-то вдруг взялся на дороге гаишник, Олег не понял, откуда его вынесло. Местность ровная, видно далеко, и вот на тебе. Пришлось тормозить. Откуда бы ему вылезти? Явился как бы ниоткуда. Всё честь по чести. Жезл, фуражка, канареечного цвета жилет:

— Ваши документы! — а сам наклонился, якобы за документами, а на самом деле потянул носом воздух из салона — нет ли настоявшегося алкогольного выхлопа? На заднем сиденье заворчал довольно явственно Флай. — О! да у вас собачка! Охотничья? На охоту следуете? А оружие есть с собой? А багажник откроете? — говорит с отяжкой, налегая на гласные.

— Это обыск?

— Никак нет. Так, интересуюсь.

Флай усилил ворчание. Олег взглянул на гаишника пристальней. Лицо какое-то сумрачное, мятое. Глазами сканирует водительское удостоверение. Перевёл взгляд на Олега. Поразительно: глаза показались знакомыми. Нет, не сами глаза, но взгляд, взгляд... как у того таксиста, что вёз из аэропорта, и того осклизлого, что сопровождал Бобона. Без зрачков, будто чёрная дыра.

— И, стало быть, документ на оружие тоже в порядке?

Флай рычал уже не на шутку.

— Флай, перестань.

Мимо, натужно взрёвывая, прополз нефтевоз, волоча за собой длинный шлейф нефтяного духа. Именно этот они обогнали ранее.

А как перестать? Он же чувствует, что тут неладно. Пахнет от этого в жёлтой жилетке не по-людски.

— Норовистый пёсик... Хе-хе-хе.

Олег ещё раз взглянул на проверяющего и только сейчас заметил, что нагрудной бляхи с номером нет. А она должна наличествовать. И ещё: гаишники пешком не ходят. А на чём же он ездит? И вдруг заметил: рядом с придорожным кустиком стоит... «Цундап». Да-да, знаменитый мотоцикл, на котором гитлеровцы разъезжали по дорогам и бездорожью во времена Второй мировой. Спутать невозможно: характерная рама, двухцилиндровый, четырёхтактный двигатель, номер стоячий гребнем на переднем крыле и окраска роммелевская, африканская. Откуда бы? Здесь?? Олег интересовался мотобайками, любил, как говорится, проветрить душу на своём «Харлее». И знал прекрасно цену такому раритету. Он и в Лондоне немногим по карману. А тут... в глуши российской, как только что с конвейера сошедший, и даже пулемётная турель на косяке.

— Ваш?

— Ну да, ну да, — вдруг заюлил-заюлил гаишник, — ага, мой. Личный! Новую технику не выделяют из области, и... вот взял, что под руками... В сарае сохраняется... Тут, рядом, — он махнул рукой по направлению движения, — деревня... Там... Так, значит, ружьё предъявить отказываетесь?

— А где, уважаемый, ваш жетон нагрудный, позвольте поинтересоваться?

Гаишник взглянул на Олега так, будто дулетом жажнул, и тут же опустил глаза-стволы:

— Да мы тут запросто, по-деревенски. Тутoshние мы, — и козырнул.

Странная встреча, странный гаишник. Участковый, что ли, местный на большой дороге подрабатывает? Олег тронулся с места. Привычно посмотрел в зеркало заднего обзора. Никакого гаишника на дороге не видно, хотя на том месте, где только что они беседовали, и спрятаться-то некуда. Чертовщина какая-то! Впрочем, в чертовщину, привидения, колдунов и прочие полтергейсты Олег не верил. Однажды в африканской деревне ему показали местного колдуна. Негр как негр. Непроницаемая чернота. Лупоглазый. Взгляд хитрющий. Словом, несомненный плут. Но его провожатый, инженер из местных, очевидно, если и не побаивался, то уважал, на всякий случай, и смотрел на приплясывания колдуна с подобающим почтением, как на архиепископа Кентерберийского.

Справа действительно показалась деревня. Вернее, не сама деревня, а бетонные

арки-стропила скотобазы, походящие на хребты и рёбра какой-то чудовищной по размерам доисторической рептилии. А в самой деревне ни одного огонька в окнах домов. И ни отблеска восходящего солнца в стёклах. Словно и стёкол в окнах нет. Кстати, нет даже непрямого указателя с названием населённого пункта Бурьян, везде бурьян...

Флай, закрыв глаза, размышлял по-своему, по-собачьи, о том, что учуял, пока хозяин разговаривал с этим на дороге. Так уж устроен у него нос и собачья память. Стоит разок что-то нюхнуть — и он запоминал встреченное навсегда. Видел он плоховато, но мир вокруг представлялся ему картиной, сотканной из запахов. Вот и человек этот пах так же, как чёрный котик на тротуаре и тот, что приходил в дом. Запах непонятный, тревожащий и сейчас неотвязно волокащийся за ними следом, только неясно, что за сущность его издаёт.

«Всё-таки я отвык от этой страны, — думал Олег. — Издалека, из Лондона всё выглядит милее и краше. Детали и подробности на расстоянии исчезают, начинают казаться не столь существенными. Но стоит приблизиться, и дотоле неразличимое становится вполне доступным даже для осязания. Один пожар чего стоит с трагическим участием профессора Натансона и либертарианца Кошеля, вызвавшего к мировому общественному мнению. Станный и этот чудак, рядящийся в гаишника. Кто он? Деревенский дурачок? Бывший правоохранитель, таким нелепым образом вымогающий вспомоществование самому себе? Трудно представить подобную ситуацию где-нибудь в Эссексе или Йоркшире... А глаза! Глаза у него... Кстати, у скольких за момента прилёта заметил Олег такие... такие странные глаза. Наркоманские какие-то... Потусторонние. А Бобон! Флай взрыкивать начал на людей. Сроду за псину такого не водилось. Впрочем, стоит ли сосредотачивать внимание. Это Россия-матушка. Тут ничему не стоит удивляться. Россия — это вам не пестроцветная, похожая в своей пестроте на арлекинистый наряд, столица Британской империи, по-прежнему полагающая себя империей. Здесь же, по пути в глухой Орлов Угол, всё по-другому. Всё! И вообще: он привык за годы жизни в Лондоне к левостороннему движению. А на родине — всё «шиворот-навыворот, набекрень», как поётся в одной старой песенке. Всё-таки хорошо, что он уехал из этой страны. А то так и жил бы в государстве, где по газонам ходить нельзя. В Лондоне они с Надой, если выпадает свободное время и тёплый денёк, любят ходить к Кенсингтонскому дворцу в парк и там полёживать именно на газоне.

Впереди развилка. Главная дорога уходит вправо к станции с забавным названием Ляля. Некогда захудалый разъезд превратился в мощный терминал, откуда нефть цистернами отправляется на экспорт и переработку, ибо такую нефть грешно прокачивать через общую трубу. А свёрток влево — как раз туда, где нет в земных глубинах куполов и прогибов пластов, под которыми, как мозги под черепушкой, накопилась за тысячелетия столь вожделенная нефть. Километра два на свёртке от главной продолжался асфальт. А затем пошёл грейдер или то, что называли этим именем в лукавых отчётах дорожных служб. Едучи по такой дороженьке, лучше не думать о вещах отвлечённых. Здесь глаз да глаз нужен, иначе словишь беду: острую ли, невесть кем утерянную железяку в колесо, колдобину ли, гибельную для подвески. А всё же думалось: и вновь о Боле и её судьбе, и о доме предков со всеми его тайнами и сокровищами, которым и на самом деле нет цены, потому как вряд ли найдёшь того, кто станет приценяться к тому незримому, невесомому, неосозаемому, что живёт только в памяти человека. В тех самых старых письмах, увязанных в стопочки тесёмкой, трогательных открытках, присланных к красным дням календаря, скрипу половиц, пению петель дверцы шкафа, светлым пятнам обоев, что сохранили свой первоначальный цвет от неизбежного выгорания за широкими спинами книжных шкафов, щербинкой на ступеньке крыльца, старинной кнопкой дверного замка, латунной прорезью, на крышке которой ещё в девятнадцатом веке была сделана надпись: «Для писемъ». Странно, что всё это каким-то чудом сохранилось, выжило в тех вихрях, которые свирепствовали за стенами дома в Товарищеском тупике. Ах! Если бы только можно было каким-то чудом телепортировать дом в Англию, в пригороды Лондона — а Олег звал тамошние места — дом оказался вполне уместен и конкурентоспособен со всеми своими старостями и странностями. Там умеют ценить напластованное годами. А в родных пределах по-прежнему превалирует страсть к обрушению. Сносят целыми кварталами вполне живые и обжитые дома, придающие месту особое очарование. А вместо — спешно и бездумно возводят унылые, остеклённые с головы до пят, под копирку деланные строения. В лучшем случае, повинуюсь прихоти инвесторов, взгромождают на крышу некую башню со шпилем, абсолютно бессмысленную с точки зрения её функционального назначения. Вот и на месте его родового гнезда Бобон и его поделники возведут ангар из лёгких металлоконструкций, обошьют его утеплёнными, ярко раскрашенными панелями, и в мире станет больше ещё на один торговый комплекс, ещё одно капище Мамоны.

Дальше грейдер сделался ещё ужаснее. Мерзавцы, его делавшие, решили эконо-

мать по полной: высыпали на дорожное полотно бутовый щебень и даже не разгребли его сколь-нибудь ровным слоем. Естественно предположить, сэкономленные средства нашлось куда пристроить. Олег уже вознамерился повернуть в обратную сторону. Но, слава Богу, нашёлся свёрток через кювет на полевую дорогу. После дождя земля была влажноватой, но дорогу не развезло, и потому катить по ней — одно удовольствие. Олег покрутил ручку, и стекло опустилось. В кабину ворвался свежий влажный воздух, запахло мокрой листвой, уже начинающей желтеть. Грибным духом напахнуло из посадки, что тянулась вдоль дороги. Справа от дороги расстиралось поле, на котором, видимо, росла озимая рожь, к этому времени давно скошенная. Похоже, при косьбе и обмолоте терялось много зерна, и оно успело уже дать всходы. Сияла среди побуревшей, но ещё всё-таки золотой стерни нежно-изумрудная зелень.

И ещё, и ещё, и ещё... Правду ли сказала Туля о сыне, которого она абортировала на последних сроках? С неё станется, она верная дочь своей артистической мамочки, всю жизнь прожившей среди декораций собственных иллюзий относительно дивного голоса, покупаемых ей самой для себя букетов, бросаемых из зала на сцену от имени призрачных, но пламенных поклонников её таланта. Как же он купился вчера вечером на сигару? Не нужно это было делать. Зачем такая утешительная, но никого не утешившая близость, похожая на милостыню. Он же не любил её, отринул тогда в приснопамятном августе. Забыл. Не хотел вспоминать. Тратил немалые усилия, чтобы забыть. Но, оказалось, ничего не забыл. И его тело, над которым он оказался не властен, рассказало ему правду о нём самом. Скорее всего, и Туля сказала правду о сыне. С ума сойти — у него мог быть сын. Совсем взрослый парень. И они ехали бы сейчас вместе в заветный Орлов Угол, чтобы отстоять зорьку среди камышей, прислушиваясь к тихой возне птиц среди куги, палить дуплетами. А когда совсем рассветёт, сесть на взгорочке и выпить из серебряных, дедовых ещё чарок травничка. С ума сойти! Он мог быть отцом. И не стал. Сможет ли он им стать? С кем? Вчера Туля заплакала и сказала, что после того аборта стала бесплодной. «Ты это понимаешь!! Ты понимаешь, что теперь не надо предохраняться. Что я теперь всего лишь бездонная чёрная дыра... Инструмент для твоего убажания, сволочь ты моя ненаглядная, Олеженька...»

7

Каким простым казался процесс ликвидации, глядя из Лондона. Все было ясным, до конца продуманным и логичным. А при определённом навыке, адвокатской поддержке и собственной сообразительности — и столь же увлекательным, как манипуляции со знаменитым кубиком Рубика. Круть-верть, тудым-сюдым — и совпали, сложились одноцветные грани. Заказывай 20-футовый морской контейнер, нанимай грузчиков — и пошло-поехало. А Боля? А что Боля? Паспорт и многолетняя виза в Соединённое Королевство были загодя оформлены. Олег и мысли не допускал об оставлении бабушки в каком-то старческом приюте. В Лондоне можно организовать консультации у специалистов, подлечить, поддержать её здоровье. Сколько в Лондоне стариков и старушек с просветлёнными лицами живут долго и горя не знают. Он, с его доходами, вполне может позволить любые траты на эти цели. Но теперь понятно, почему Боля — бабушка Оля — все эти годы слышать не хотела даже намёка на возможную смену места жительства. Она ждала Николая. Всё думала: вернётся он из своего неведомого «далёко». Вернётся в Товарищеский тупик, в родной дом, поднимется по трём ступеням крыльца. позвонит в дверь... А он всё не звонит и не звонит! Это вообще не поддавалось логическому осмыслению. Верность кому, чему? Тени? Так сейчас никто не живёт. Никакого иррационализма. Движемся от одной понятной и осязаемой цели к другой такой же цели вещного мира: One — Two — Three — Four. И так далее. Боже мой, Боля! Милая Боля, заменившая ему в самые переломные его годы отца и мать. Она своего, непутёвого колобка ждала из Лондона. Кивала одобрителем головой, слушая его похвастушки об успехах сначала малого, а потом всё более взбухавшего бизнеса, благодарила за привозимые сувениры. Милостиво позволяла помогать материально. Какой же он дурак! Вы — дурак, мистер Олег! Что ей сувениры из лондонов! Ей нужен Олежка — для неё навсегда маленький. Чтобы можно потчевать колобками. Боля всякий раз, когда он прилетал на несколько дней, рассказывала ему о разных разностях, о своей общественной деятельности в Некрасовском обществе при библиотеке. Он слушал её и не слышал: Боля всякий раз, на самом деле, говорила ему, бестолковому, об одном — тягостном и непоправимом своём одиночестве, только усугубляющемся с каждым проживаемым днём. А он, как колобок из сказки, катился и катился по дорожке, обштыпывая на своём, как ему казалось, удачливым пути разных зайцов, волчищ, медведей и даже хитромудрых лисовинов, за которыми гоняются верхом на лошадях английские джентельмены.

Зазвонил телефон. На дисплее высветились буквы: «NADA» — вот уж неожиданность! В Лондоне сейчас совсем раннее утро, почти ночь.

— Здравствуй! — голос у неё напевный, от которого с ума сойти можно. — Я тебя скучаю, сладак мой, — они разговаривали на странной смеси русского, английского и сербского языков. — Желим те.

— Я тоже. Ні.

— Где ты сейчас? — спросила она уже по-английски. И тут же продолжила опять по-сербски: — Развлекаешься с девочками?

— Флай, голос! — скомандовал Олег. Но Флай не хотел гавкать. — Вот с кем я. Он спит. Мы едем на охоту.

«Чутьё у неё просто зверское», — подумал Олег.

— Ты не захотел меня взять с собой. А я тебя брала.

Это так, это так. Олег вспомнил, как они шли на яхте по неправдоподобно живописному Которскому заливу и он рассматривал в бинокль приближающихся венецианских львов на балконе музея в Перасте, освещаемых солнцем, которое вот-вот должно было скрыться за горами, обрамляющими залив.

— Ты встретил свой бывший? — спросила она теперь по-русски, как бы походя.

Нада знала, что он женат. Он никогда это и не скрывал. Значит, ни о какой свадьбе между ними речи не велось. Её родители, а там, помимо папы-мамы, были ещё и дедушки-бабушки и даже одна прабабушка — все в чёрных платьях и чёрными платками на головах — православные и богобоязненные. Это она, словно листок, оторванный ветром глобализации от ветки родимой, в вавилонском лондонском столпотворении подрастеряла семейные запреты. И то — не до конца. Гражданкой мира она была только в рабочие часы в брокерской конторе, где они, собственно, и познакомились. Но дома — всё ещё сrbкиня* из малюсенького городка. Как ни странно, именно это и привлекало Олега. Ведь и он также родом из маленького, в сущности, российского городка, из семьи с глубокими традициями.

— Да. Я встретился с ней. Пока ничего нового.

— У нас дождь...

— Здесь солнце. Отличная погода. Только дорога ужасная.

— Ты её любишь?

Помнится, в Подгорице они притормозили подле памятника Пушкину и Натали. «Она была красивая?» — спросила тогда Нада. «Да». — «А Пушкин из-за неё стрелялся с этим французом?» — «Да». — «А ты смог бы из-за меня так же?» — она подняла руку, будто и впрямь собралась стрелять.

— Ты инициировал процесс развода? — опять по-английски спросила Нада.

— Ты помнишь песенку, которую я тебе пел? — по-русски ответил Олег

— Не хочу петь, — опять по-английски ответила Нада

— Девочка Надя, чего тебе надо? — запел Олег. — Ничего не надо, кроме шоколада.

По молчанию в трубке он решил, что Нада обиделась и отключила телефон. Выбрал опцию повтора вызова — тишина. Посмотрел на экран. Увидел, антенки нет, и сообразил, что выехал из зоны устойчивой связи. До того дорога медленно и неуклонно тянулась в гору, а теперь подъём закончился и впереди начинался долгий пологий спуск. Возвращаться на гребень увала не хотелось. Наверняка, подумал Олег, она попробовала перезвонить и услышала компьютерный голос, сообщивший, что абонент недоступен. Однако отсутствие связи — не есть хорошо. А что, если Боля заплохет? Наверное, надо заехать в Орловку — деревню, которая дала название всей округе. Если нет сотовой связи, то почта должна быть. Или сельсовет — администрация по-теперешнему. Там-то наверняка должны работать телефоны.

Внизу начиналась речная широкая пойма. Когда-то, много тысячелетий назад, полноводная владычица невозбранно несла здесь воды по вековечному руслу. Летом и ближе к осени она — само смирение. Зимой — тишь да гладь. Иссиня-белый снежный шугун поверх ледяного панциря, искрящийся на солнце так, что глаза надо беречь от этого нестерпимого блеска, переводя взор на деревья, чернеющие по берегам, дабы помиловать зрочки, собирающиеся от яркого света в точку. Весной же, напивавшись талыми водами, сбрасывая с плеч ледяной панцирь, пускалась река во все тяжкие. И что ей, удалой, тесное русло да песчаные берега. Бывало, в одну ночь раскинется широко — и не углядишь, где заканчивается водная гладь. Шутя-играючи выворачивает и обрушивает в свои струи дерева, опрометчиво подступившие к самому краю яра. Она настолько могуча, что ничего не стоит ей промыть себе новое русло. Вот и здесь когда-то напелаяла, нарыла стариц немислимой глубины. Есть тут одна старица, что местные не без основания зовут Бездонкой. Говорят — и это повелось исстари — в Бездонке перед своим пленением и лютой казнью утопил награбленное золото один из атаманов — сподвижников Стеньки Разина. Сколько ни пытались достать утопленное сокровище — дна и на самом деле не достигали. В последние же десятилетия всё поменялось. Весной вода прибывает, но куда ей до прежнего. На главном притоке реки в верховьях поставили плотину и стали собирать воду в водохранилище для закачки в

нефтяные пласты. Вешний сток, пробивавший себе русло даже и по целику, захирел. Русло начало заиливаться — отсюда и рыжие косы, и рыбьему ходу нет того приволья, что прежде. Ополовинились паводки, и рыба по весне перестала заходить на нерест в старицы. Оскудели подрусловые воды. А тут ещё одна напасть: пахать начали под самый урез воды. Прежние областные власти из штанов выпрыгивали, норовя удивить московское партийное руководство высокими урожаями. Всё это происходило не враз, но исподволь, и потому поначалу печальные изменения не казались заслуживающими внимания. А тех, кто об этом заводил грамотную речь быстро ставили на место прямым, как лом, вопросом: «Вы что? Против генеральной линии?» Кто же в таком разе станет поперёшничать? Да не в жизнь!

Сюда-то и хотел попасть Олег, памятуя детские и юношеские восторги от поездок с отцом. Случалось такое нечасто: всё-таки тёплое время года для геолога — это, прежде всего, полевой сезон — время страдное. Но случалось. Здесь привольно. Старицы протекавшей здесь некогда реки изгибаются к югу, обозначая пунктиром водных прочерков некий угол, давший название местности. Воздух чист. Досадливая мошкара осела. Любой сторонний звук разносится в остывающем воздухе далеко. В лугах давно скосили и поставили в стожки сена. Теперь за ними приедут по санному первопутку. Редко, когда протрусит на лошади лесник. А так — приволье. По-над старицами, озёрами да озерками табуны пролётной дичи. Стригут воздух выводки крякашей. Резко снимаются с мест гнездования, облётывают молодняк, готовятся в путь-дорожку. Меж кучами деревьев на поляне собираются в стаю журавли. Ходят, взмахивают крылами, будто о чём-то сговариваются, рядятся о путях пролёта, хотя маршруты давным-давно определены и внесены в полётные карты, хранящиеся в наследуемой памяти. Журавлям также лететь далече, в иные пределы. Вот и ему...

— Знаешь, Флай: если уезжать, то насовсем. Надо решаться. Вот погуляем вволю, потешим душу на прощание. И ты побегаешь. Хотя бегун из тебя никакой теперь. Ты же у меня старичок, Флай?

Флай, услышав своё имя, прыгнул ушами. Но глаза не открывал. А зачем? Главное — слышать любимый голос. С годами смыслы, заключённые в словах, теряют значимость. Остаётся только интонация, с которой слова произнесены. Это по молодости он пытался уловить связь между произнесённым и учуянным, явственным, предметным. С тех пор научился понимать смысл достаточного количества слов. И вполне смог бы поддерживать беседу, только не на отвлечённую тему. Проще всего при разговорах со старой женщиной, которая чаще всего много слов не говорила, а те, что произносила, вполне конкретны. Хотя, хотя... и она тоже подвержена общей человеческой слабости — говорить. Иной раз начинает говорить, говорить. Говорит, а не поймёшь о чём. Откуда бы знать псу про стихи и про то, что, читая нараспев «Мороз, Красный нос» или что-то другое из любимого Некрасова, старая женщина проверяет свою память — не начала ли выживать из ума. Или вдруг вспомнит выпуск пятьдесят шестого или иного, столь же отдалённого года и перебирает в алфавитном порядке фамилии выпускников. Да, интонация... А уж когда говорил с ним хозяин... Хозяину прощалось и самое непонятное.

— Уточек повспугиваем? Да? Походим-побродим. Грибчиков поищем. Щербу заварим. Ты тоже, брат, щербу похлебаешь. Похлебаешь же, Флай?

Что такое щерба, Флай не очень понимал. Но когда говорят «похлебать» — это понятно. Значит, речь о съедобном. Это радует. Он ведь перед отъездом на радостях даже и не напился толком.

За три километра до Орловки следовало сворачивать с просёлка вправо и ехать в поля, переходящие в заливные луга, расстилающиеся вокруг стариц. То тут, то там темнели росшие то кучно, то поодиночке старые дубы и молодой подгон — дубочки, разраставшиеся самосевом или разносившиеся кабанами, что по осени, да и зимой, лакомились жёлудями. Но Олег в поля не свернул. А поехал прямо в деревню, правая на скелетированные останки мехтока. Так что в деревню он въехал не с парадного въезда, не со стороны дороги, идущей из райцентра. Но с задов, со стороны бывшего колхозного мехдвора. Здесь некогда, в достославные времена стояли рядами комбайны, уже подготовленные к зимовке. Колёса крашены известью, навесные орудия сняты и поставлены рядышком на камнях, штоки утоплены, и ни на одном нет ремней вариаторов — все заботливо прибраны. Тут же плуги, бороны и прочий инвентарь — свидетельство богатства колхозного и предмет гордости руководства. А сейчас пустырь и лишь кое-где побуревшие от ржавчины мелкие железяки непонятного назначения.

Машина выехала на некое подобие давно не ремонтировавшейся улицы. Прямо, налево, направо, ещё раз налево — когда-то мальчишкой он заезжал в село с отцом и смутно помнил примерное направление к центру. За его проездом наблюдал, стоя у своих ворот, дедок, обряженный в донельзя заношенный джинсовый костюм. Навстречу по улице шла тётка с авоськой, в которой краснели три коробки ультрапасте-

ризванного молока. Из палисадничка справно выглядевшего дома с резными наличниками Олегу помахала рукой девчущечка-снигирёчек в красной кофтёнке. Заметно, что ко многим домам хозяева руки давно не прикладывали. Однако, не на каждом, но через дом, как подсолнухи к солнцу, развернуты спутниковые тарелки. А вот и центр. Двухэтажное здание правления. Флагшток без флага. Давно немытые стёкла окон первого этажа. Рассаженное стекло в окне второго. Рядом здание почты с фирменной табличкой синего цвета и синим же почтовым ящиком, приколоченным к стене. Замок на двери. А телефон по-прежнему сеть не ловит.

Олег заглушил двигатель и подошёл к дверям здания правления. У входа табличка: «Колхоз «Путь Ильича». Правление». Чуть ниже — другая: «Администрация Орловского сельского поселения». Олег вошел. Перед ним крутая деревянная лестница на второй этаж, перегороденная сломанным стулом. Слева дверь с табличкой «Глава администрации». Заперта на огромный висячий замок. Напротив дверь с удивительной по теперешним временам табличкой «Партком». Замка нет. Олег предупредительно постучал костяшками пальцев и открыл дверь. В кабинете за большим, старой выделки канцелярским столом сидел человек в некогда дорогой, как говорили раньше, «обкомовской» пыжиковой шапке, изрядно теперь поистершейся, лет, пожалуй, семидесяти, а то и старше.

— Здравствуйте, — сказал Олег.

— И вам здрасте, господин-товарищ многоуважаемый, — ответил, беззубо пришепетывая, сидящий. — Откуда и куда путь держите?

— Из города.

— Заметно.

— А это правда?

— Что?

— То, что на дверях написано.

— Чё? Нежданно-негаданно?

— Как-то так...

— Вот-вот, — человек за столом бережно снял шапку и возложил её на столешницу, обтянутую некогда при сооружении стола зелёным сукном, с тех пор сильно поцветшим и даже побуревшим. Несмотря на возраст, сидевший был красиво густоволос. Волосы волнистые, тёмные. С отливом в седину. Лоб высокий выпуклый, «сократовский» с вертикальной, словно рубленой, складкой над глубокой переносицей, волевой подбородок. А вот нос... подкачал нос. Словно картофельный клубень-мутант, разросшийся как-то неравномерно, да вдобавок с какими-то фиолетовыми прожилками.

— Вот-вот, — продолжил он, обращаясь не только к Олегу, но и к неким иным, видимым только ему, многочисленным слушателям. — Живёте. Воруете. Благоденствуете. И не ожидаете. А надо ожидать.

— Чего? — спросил Олег.

— Второго пришествия, господин-товарищ! С нами Ленин и крестная сила! Вот! — и он указал на плакат, на котором изображен Ульянов (Ленин), взмахнувший рукой, и крупно — слова: «Там, где Партия, там Успех, там Победа».

— Скажите, а почта работает?

— Через два дни. Пензию из рыйона привезут, и заработает. Почтарка придёт и откроет.

— А сосед ваш?

— Герасименко? Колька? В рыйон умчал по предстоящим выборам. Совещаются, быдто Кутузов в Филях. Только у Пахомова глаз не выбит. Пока.

— А кто это?

— Глава района. Главвор. У нас последним председателем колхоза был. Всё украл. Даже ржавые железяки с мехдвора вторчермету продал... Дойный гурт остатний на мясо порезал. А они, красавицы, доились по три-четыре тысячи на фуражную голову. Всё свёл. Своим сельчанам даже хвостов не досталось, один мык коровий. Ага-ага! А теперь рыйоном заправляет. А вы не из рыйона часом?

— Нет.

— Может, из области?

— Чуть подальше.

— Из самой Москвы?

— Из Лондона.

— Ох, те-те-те-те-те! Из самого Лондона? Это где Маркс похоронен?

— А он там похоронен? — искренне удивился Олег.

— Святое место, господин-товарищ! Стыдно не знать.

— А позвонить от вас можно?

— В Лондон?

— В город. Бабушка у меня болеет...

— Звоните, — обитатель кабинета любезно пододвинул телефонный аппарат. Олег снял трубку. Гудка не было. Олег положил трубку. Снова снял — нет гудка. — Да вы не расстраивайтесь, господин-товарищ, не знаю, как звать.

— Олег.

— А меня можете звать просто: товарищ Партков.

— Телефон у вас не работает, товарищ Партков

— Ага! Ожидаемо. Не расстраивайтесь. Он у нас отключён. Нет, на сей момент, у партии денег на излишества по связи. Я лично даже по партийным делам из дома звоню. Супружница меня костерит. Но лёгким языком — всё ж у меня на учёте состоит. Но мы и так, хотя бы и пешком, до каждого нужного человека доходим. Шкандыбаем, спотыкливы стали, а дойдём. Вот на почте телефон работает. Только почтарку вы не найдёте. Она тоже в рыйон укатила по бабским своим делам. А в Лондоне чем пробавляетесь, позвольте у вас поинтересоваться?

— Живу, работаю.

— Понятно. А по какой части? Поди, на бибисях на родину клеветаете?

— По производственной я части.

— Понятно. Это ещё ничего. А голосуете за лейбористов или консерваторов?

— Ни за тех, ни за других, — улыбнулся Олег.

— Вот и у нас ни за тех, ни за других голосовать бы не стали. И те, и другие не за простой народ. Даром что лейбористы. А у нас народ кой-какой тоже вовсе чумовой сделался. Голосуют за этих, что в Кремле.

— А вы, стало быть...

— Мы, господин-товарищ, голосуем правильно. У нас в Орловке компартия всегда побеждает. За подсчётом голосов следим. Герасименке — главе нашему — шермачить не даём. Уж он вьётся — рыйон-то отчёт требует. А звонить не получится. Довели село до ручки... — Партков тяжело поднялся из-за стола, пробормотав: «Папашу прощения». Но прежде дважды клацнул замком большого древнего сейфа, стоявшего обочь стола. Затем повернул шпенёк, укреплённый на дверце сейфа и притопил его в пластину, которым наполнена чашечка «секретки». А затем придавил пластилин печаткой, оставив отпечаток.

— Партийные документы секретные, личные дела, — пояснил он свои действия Олегу. — Ну, и взносы партийные... Хотя и невелики, но сбережения требуют. Всё, как учил Владимир Ильич: контроль и учёт, — на улице, увидев машину, он сдвинул шапку на затылок и протянул: — О-о-о-о! Машина-то! В хорошие времена на таковских из области большое начальство наведывалось. У вас, поди, отец или дед в партийных органах работали?

Флай, заслышав шаги Олега, проснулся. Втянул воздух и не уловил запах опасности, которая в последнее время начала будто бы сгущаться вокруг хозяина. От человека, подошедшего к машине, припахивало мышами, как в сарае от старых тряпок, а поверх того и недавно съеденным луком. Запах лука псу никогда не нравился. Но он нравился людям, вожаку прежде всего, и потому зло это было неизбежным. А значит, следовало терпеть. Но тут машина завелась, все прочие перебил запах сгорающего бензина, и они покатались по улице мимо школы, из которой явственно напахнуло школьным обедом. Дальше — мимо клуба с облупленными колоннами по фасаду, бывшего магазина КООП с мутными, давно немывтыми витринами и закрытого сразу на два висячих замка, и дальше, дальше мимо жилого в прошлом дома, а теперь частной продовольственной лавки со звучным названием «Орион». А из лавки этой, дверь в которую была широко распахнута, повеяло свежезавезёнными медовыми пряниками, до которых Флай большой охотник. Конечно же, через приоткрытое окно проникали, прежде всего, запахи хлева, петушиный дух, в одном месте — напахнуло овцами. И собак, судя по всему, в деревне было много. Давненько Флай не ощущал эти, такие живые, можно сказать, праздничные для него запахи. Не чета надоевшим городским, мёртвым: сырого камня, тягостного испарения нагретого на солнце асфальта, многослойного, остро бьющего в ноздри зловония мусорных контейнеров, в которых, однако, иногда так и тянуло покопаться.

Впереди, справа прогал меж домами и короткая дорога на взлобок, на вершине которого кроваво-красные останки того, что некогда было церковью. Олег вспомнил, как они давным-давно, в детстве остановились с отцом около неё, вышли из «козлика» и, поднявшись по осевшим ступеням, подошли ко входу. Над дверями висела тогда ржавая вывеска «Склад». Олег притормозил и вышел из машины. Вывески «Склад» над дверью не было. Вместо неё над дверью укреплена икона. В центре — лежащая женщина в чёрном одеянии. Вокруг — народ. Как икона называется, Олег не знал. Наверное, это знала его черногорочка. Она бы объяснила. Но где она сейчас? До неё отсюда, как до луны.

Дальше дорога пошла под гору, мимо неопрятных задов приусадебных участков,

огороженных порою сикось-накось разной дрянью, с непременными кучками всякого ненужного хлама. Вся изнанка небогатой деревенской жизни являлась здесь, как на ладони. Помнится, отец, посмеиваясь, называл подобные кучи мусора задворками истории. Он был немногословен, привыкнув, как видно, к молчанию в своих экспедициях. Но иногда, прерывая молчание, вдруг отливало что-то этакое, заставлявшее улыбнуться. Кстати, немногословие его, как помнилось Олегу, маму не радовало — но поделаться с этим что-либо она была не в силах и только иногда ворчала: «Ну, что ты молчишь? Сказал бы что-нибудь». Низина за селом, переходящая в пойму, изрядно изменилась с той поры, когда Олег был здесь в последний раз ещё подростком. В те далёкие времена луговина всегда была чисто выкошена. То тут, то там стояли стожки сена. А теперь повсюду клочками выросли кусты, возвысился долговязый осинник, уже начавший расцветаться редкими ещё желтыми флажками листы по случаю прихода осени. Видно было, что сенокосы изрядно поумерились. Да и немудрено, если деревенские в магазин за пакетированным молоком наладились ходить, значит, коров перестали держать. Или держат меньше противу прежнего. Однако всё так же вилась полевая дорога к дальним старицам, в памятный Орлов Угол, где когда-то они с отцом любовались чёрными утиными прочерками по бордовому предзакатному небу.

Слева от дороги должно было быть Горелое озерцо, а в нём пиявки. В один из приездов отец и друг его Юрсамойлч решили поставить сеть на карасиков. Лодки резиновой не было. Отец поплыл, волоча за собой сеть, раздвигая руками стебли и листья кувшинок. Самойлч же руководил процессом, потравливая сеть, которую держал в руках. Глубоко в воду он не зашёл, а так — по середину бедра. Наконец, сеть встала на место, отец сажёнками поплыл к берегу, а Самойлч вышел из воды и заохал, заматюкался. Ноги у него были обвешаны присосавшимися пиявками. Отец вышел на берег — ни одной, даже маленькой пиявочки на нем не было. «Чё делать? Чё делать?» — причитал Самойлч. «Какой ты вкусный, Юрка!» — «А на тебе ни одной холеры! Чё? Отрывать, што ль?» Отец достал из машины армейскую флажку с водкой, оторвал кусок бинта, смочил его водкой и начал прикладывать к головам пиявок. Снял десяток. Всё той же водкой протёр сочащиеся кровью места укусов. «И ведь не почувствовал даже, когда кусали, — всё приговаривал Самойлч, — такие твари... А тебя — ни разу...» Отец велел Олегу достать из укладки пузырёк с йодом и прижёт ранки. Пиявки лежали на траве. Чёрные, шевелящиеся, тела их сокращались... «У них в слюне обезболивающие вещества есть, — сказал отец. — И чтобы кровь не сворачивалась... Я как-то в тайге, в болоте тоже нацеплял. Два дня ранка кровила. Насилу остановил». И они с Самойлчем довершили процесс лечения всё той же водкой, опрокинувши по складному стопарику, который в шутку именовался «Спутник агитатора».

Олег той порой представил себе, как пиявки присасываются к его телу и содрогнулся. Долго он потом вспоминал эти чёрные, шевелящиеся тельца. Они даже ему как-то раз приснились, и он вскочил среди ночи с кровати и начал спросонья искать пиявок в складах одеяла — так явственно привиделись аспидно-чёрные твари.

Машина миновала озеро, которое теперь и озером нельзя было назвать. Оно усохло и окончательно пообмелело, и только рыжий камыш, всё ещё стоящий стеной, указывал на мокрое место.

Наконец, Олег узнал место, где некогда разбивал стан отец. Вот он, знакомый дуб, укоренившийся много-много лет назад на взгорочке. В далёкие времена это был крутой над рекою. Только когда? Никто и не вспомнит, так давно это было. С тех пор много воды утекло в реке, да и сама река утекла, прорыв новое русло. Осталась старица, да и та как-то поумерилась, усохла, что ли...

8

Олег заглушил двигатель. И сразу тишина ударила по ушам.

— Флай! Приехали! Вылезай.

По тону сказанного пёс понял, что дорога кончилась, и охотно выбрался из салона. Он хоть и лежал всю дорогу на заднем сидении, противу обыкновения сиживать в поездках справа на переднем, высовывая нос в приоткрытое окно, запоминая на всякий случай сменяющиеся придорожные запахи, но от лежания устал. Тем более, на заднем сидении не поворачачеешься. А ворочаться хотелось. Потому что смена положения позволяла на время хотя бы поутишить боль. Потянулся, поглядывая на жоака, словно спрашивая разрешения на отлучку по неотложным собачьим делам.

— Гулять! — скомандовал Олег.

Флай порадовался, что Жоак по-прежнему понимает его, Флая надобности и стремление найти то, что подсказывал ему инстинкт. И он потрусил к осинничку. Ему казалось, что бежит он быстро, хотя быстро никак не выходило — боль-то была при нём. Да и не следовало торопиться. Нельзя пропустить тот единственный среди тысяч других запахов. Он не знал, как выглядит то, что должно пахнуть так, как подсказывает

ему истомленное болью тело. Но знал, что нужно этот запах ухватить всё ещё почутым носом и следовать за тонкой, но затем всё утолщающейся путеводной нитью до того самого места, где таится это самое то, что нужно. Потому он бежал не прямо, а зигзагами, стараясь обследовать как можно большее пространство. Но пока ничего подходящего не попадалось, кроме запахов отцветшего клевера, зверобоя, листиков одуванчика, вечно молодой осоки, мокрой земли и особого рыбьего духа, что поднимался от воды старицы, вдоль берега которой он бежал. Понятное дело, никаких названий он не знал, да и не положено ему знать столько слов. Он и цвета унюханного им толком не различал. Но зато сколько всякого-разного пахло вокруг! Вот неподалёку от берега запахло знакомым-знакомым. Он подбежал, пригнувшись. Так и есть. Почти у береговой кромки, вдавленная сапогом в глину ещё весной, лежала стрелянная патронная гильза. И ему сразу вспомнился просвист утиных крыльев, звук выстрела и свежестрелянная, ещё остаточной дымящаяся, гильза, выброшенная экстрактором из ствола ружья. Ах, как хорошо! Но надо искать ту былиночку, единственную из всех возможных, подле которой следует остановиться и начать тягивать носом ни с чем не сравнимый запах. А лучше — лечь, положить морду на лапы и вдыхать, вдыхать, вдыхать. Но пока среди пестротканого узора запахов Флай не мог ухватить даже намёка на вожака след. А потому продолжал свой бег по луговине, продирался сквозь густой чапыжник, исследовал подлесок в осиннике и даже чихнул на том месте, где когда-то давно мужики пытались починить заглохший трактор и налили на землю какой-то зловонной дряни, которой теперь будет пахнуть это место до окончания века.

Олег подошёл к дубу: «Привет, старина!» И поймал себя на том, что приветствие само собой прозвучало по-английски. Он обошёл дерево и увидел, что со стороны старицы под самым стволом у корней некогда разводили костёр. Кострище не свежее, но и не давнее. А выше по стволу ожог от костра: струпья обгоревшей коры, там, где её лизало пламя и сама древесина — словно выеденная дочерна. Тут же у кострища две стеклянные бутылки, размоленные в мелкие дребезги, как видно, о дерево. Здесь же пустые, уже подёрнувшиеся ржавчиной банки из-под тушёнки и оплавленные в огне четыре пивных пластиковых пузыря. Но он ещё жил, старина дуб. Назло терзаниям, которые испытал, продолжал плодоносить. Вокруг дерева на земле коричневыми бочками поблёскивали спелые жёлуди и видны были отпечатки кабаньих копыт.

Олег пошёл к машине, достал из багажника старую, отцову ещё, саперную лопатку и подалее от дуба начал рыть яму. Земля слежавшаяся, копалось тяжело, с натугой, но копалось. Выкопав яму на штык глубиной, он собрал лопатой осколки и высыпал в яму. Туда же отправились ржавые банки, которые он до того сплющил каблуком. Затем Олег засыпал схрон землёй и притоптал. А бутылки из-под пива? Эта пластиковая дрянь неуничтожаемая, в отличие от жестяных банок, которые со временем обогатят почву окислами железа. Пришлось доставать из багажника пластиковый же пакет и сложить в него деформированный полиэтилен, чтобы отвезти мусор до какого-нибудь места сбора.

Теперь, кажется, можно оглядеть местность и решить, где стоит устроить засидку, чтобы на вечерней зоре попутать уток. Хотя, кто знает и расскажет, есть ли в камышовых зарослях утиные выводки. Может, и нет. И некому встать на крыло, как это заведено у крякашей, норовящих, когда стемнеет, взлететь и пронестись над старицей, отражаясь в воде. Зачем? Кто их знает, зачем они это летают? Крылья ли разминают, другим крякашам о чём-то маячат. И может, и впрямь любят на отражение своего пролёта в тёмном серебре остывающей старицы.

Олег пошёл вдоль берега, вглядываясь в выжелтевшие заросли камыша, отражение высоких вётел в спокойной воде, кусты шиповника, увешанные чёрными ягодами. Шиповника наспела тьма-тьмуца. В прежние времена отец заставлял его обирать кусты, и они привозили домой изрядное количество ягод, которые мама высушивала и потом всю зиму с ними и другими лесными вкусностями заваривали в расписном китайском термосе лесной чай, пахнувший листьями лесного — обязательно и только лесного вишарника, смородиновым листом, малой толикой зверобоя и, конечно же, мятой.

Олег позвал пса: «Флай, ко мне». Флай, слышавши зов, выбежал из зарослей терновника. Бежал тяжело и как-то боком, но бежал. Подбежал, ткнулся носом в коленку, завил хвостом, и дальше они пошли вместе. Шли вроде бы по делу, высматривая место засидки, но на самом деле, наслаждаясь видами старицы, изгибавшейся почти на девяносто градусов. Вдыхали особый, осенний сыроватый дух, идущий от остывавшей уже воды, вместе чуяли горький аромат осинника, раньше других деревьев готовящегося принять первым надвигающиеся удары неизбежной зимы. Потом Олег решил, что негоже далеко уходить от незапертой машины и повернул назад, скомандовав Флаю: «Гуляй». И тот опять потрусил в сторону зарослей в поисках одному ему ведомого запаха, затерявшегося среди тысяч других.

Подле машины никого не было. И всё-таки Олегу показалось, что кто-то здесь побывал, да и сейчас обретался неподалёку, наблюдая за его возвращением. Бывает же такое, когда ты чувствуешь нечто, чему нет определения. Помнится, в Нигерии его повезли в одну деревню, где, по слухам, обитал мощнейший колдун. Колдун оказался плюгавым, шелудивым, беззубым старикашкой, одетым в самую обычную, довольно-таки заношенную клетчатую рубашу, был бос, а старческие его ступни, изуродованные болезнью, походили на вконец разбитые коровьи копыта. Олег ожидал каких-нибудь экзотических нарядов, обилия бус, перьев и прочей туземной атрибутики. А здесь — ничего подобного; ступни-копыта и напитанные желтизной белки глаз, с красными прожилками, вылезающие из орбит, да скрюченные артритом чёрные пальцы рук с искорёженными ногтями. Эта его обыденность и неопрятность, меж тем, произвела на Олега какое-то странное впечатление. Но более всего, мгновенный, как выстрел в упор, взгляд колдуна, как Олегу показалось, ударивший в самые его зрачки. Взглянувши, колдун тут же отвёл свой взгляд. То, что происходило потом: бормотание, нелепые прыжки, закатывание глаз, позёвывание, переходящее в подвывание, горловой клёкот — особого впечатления не производили. Но мгновенный тот взгляд... Долго тот помнился.

Флай наконец-то отыскал в лоштинке то, что нужно — травку, что должна помочь облегчить с тяжесть дыхания и всё нараставшую боль. Он обнюхал траву, росшую клочками по склону лощины. Из-под травы, а вернее, земли, на которой она росла, остро и возбуждающе тянуло грибницей. Грибов на поверхности не видно, но грибница жила, ожидая только доброго дождя, чтобы вытолкнуть свои пластинчатые наверхия, похожие на экраны локаторов, обращённые к небесам. Но это всё — суть домыслы людские. А Флай просто знал, что должна быть такая трава. И не просто трава, а именно пронизывающая своими корнями грибницу так, чтобы корешки сплелись с белыми нитями этого загадочного существа, живущего в земле и тоже умеющего по-своему чувствовать и размышлять и даже делиться своими мыслями с теми, кто понимает, с помощью постоянно меняющихся запахов. Флай понимал этот язык, как всё сущее на земле понимает друг друга за исключением людей, которые уж очень доверяют звукам — ну, что с них возьмёшь, так они устроены. Флай также умел одними только запахами переговариваться с другими псами, для того и метил места, которые считал своими, и по запахам же ориентироваться в окружающем пространстве. Его всегда тяготило, что вожак его не вполне понимает. Не понимает этого языка: можно же не только видеть и слышать, но прежде всего повтягивать воздух носом. Но он всё равно любил его, жалеючи, коли ему такое не дано.

Начинать надо было с того, чтобы лежать, внюхиваясь в запах травы. Сколько лежать? Ровно столько, сколько потребует. Но всё-таки? Ничего этого Флай не знал. Знание приходило к нему неизвестно откуда в тот самый момент, когда в том появлялась потребность. Будто некто неведомый раскрывал книгу на требуемой странице и зачитывал порядок действий. И никогда-никогда знание это, записанное в его собачьей памяти невесть кем и в какие времена, его не подводило. Кстати. Имя своё, на которое он откликался, совсем не его имя, а так — вежливая уступка вожаку, старой женщине и людям, которые не умеют по-другому. Но он-то знал, что зовут его... Эх, не передашь звуками ту единственную и неповторимую совокупность запахов, особую для каждого пса. Но это — потом, потом... Теперь же следовало, надышавшись, отыскать некие неприметные кустики. Они и росли неподалёку. Но прежде только лежать и вдыхать.

Ему стало легчать. И когда пришло время, Флай, хоть и не без труда, встал и поковылял к кустикам. Доковыляв, стал обгрызать кору стволов у самой земли. Отгрызал и принимался мумлить в пасти, пока кора не превращалась в горькую кашицу. Старая женщина, кстати, в последнее время, особенно после визита человека в белом одеянии, пропавшего насквозь другими собаками и ещё какой-то дрянью, кормила его именно кашицами, хотя пуще всего прочего он любил фарш из крольчатины. Но ей разве втолкуешь... Кору Флай сгрыз достаточно. А теперь надо приниматься за сами стволы. Странно: кора жесткая и горькая, а древесная мякоть сладковатая. И опять — долгий процесс разжёвывания. Он слышал, как его звал, высвистывал вожак, но решил, что можно себе позволить послушаться, тем более что ему становилось легче. Потом он вновь сошёл к траве и начал поедать её, скусывая жестковатые стебли сточившимися от старости передними зубами. Боль совсем поумерилась, он положил голову на вытянутые передние лапы, уткнулся носом в траву и заснул так крепко, как давно не спал.

А Олег занялся обустройством бивака. Достал из багажника старую, верную треногу, оставшуюся ещё от отца, и старый-престарый, прокопченный чайник, какой сейчас ни за какие деньги не купить. И опять вспомнилась Туля и те самые злополучные августовские денёчки их ещё не разорванной на две части совместной жизни... Было

дело, попивали они чаёк... Каково ей сейчас, после того, что случилось, после совсем неожиданной близости? После охватившего каждого их них совместного беспамятства, безумия, жадного всепоглощающего ненасытного бесстыдства, опрокидывающего все мыслимые и немыслимые, разделившие их раз и навсегда барьеры-воспоминания, непреодолимые барьеры, в кровь раздирающие душу, словно цапучая ржавая колючая проволока, через которую они продирались навстречу друг другу. Да, это случилось, и теперь ему не вырваться из этих всеохватных воспоминаний, особенно после страшного её признания об аборте и умерщвленном во время аборта сыне.

С ума сойти! У него мог быть сын, и они могли бы сейчас вместе обустроить бивак, а потом на вечерней заре стоять среди камышей и выцеливать испаривающихся уток. Зачерпнув воды в старице, он подвесил чайник на крюк треноги, затем, прихватив топорик, направился в берёзовый колок. Колок реденький. Ещё и потому, что многие деревья сохли на корню. Да и росли криво-косо. Какая неведомая сила губила деревья — не поймёшь. Да и не о том думалось, когда Олег выбирал валежину, чтобы запалить костерок. Хотелось чая, именно на костре заваренного, в память об отце, который был великим умельцем по таёжному чаю и всегда возил в охотничьей укладке жестяную банку со смесью неких действительно таёжных листиков и корешков, придававших чаю при заваривании невероятный аромат. А потом он же обещал шурпу Флау — кстати, где же пёс пропадает?

А он и не пропадал вовсе. Просто впал в сладкое забытё. Мнилось ему, что перед ним дорожка лёгкого жёлтого песка и он припустился по ней, как бы не слыша возгласы старой женщины. Что ему эти зовы, когда иные позывы владеют его душой. Он свободен, как никогда, и даже ошейник — всего лишь досадная случайность, о которой можно и не вспоминать. И не тягость он, но даже и украшение, какое не у всякой собаки имеется. И кстати, что за собаченция там вдали пробегает и боязливо, хвост поджавши, оглядывается на него... Бестолковая, даже и ошейника нет. Он вновь услышал зовущий голос старой женщины, подпрыгнул и, с удивлением для себя, взлетел и поплыл в тёплом летнем воздухе среди тополиных пушинок, и старая женщина тоже взлетела следом, держа в одной руке поводок, опрометчиво ей отцепленный. А в другой кулёчек с лакомством — кусочками отварной куриной печёнки, до которой он столь охоч. Но о каком лакомстве, даже таком желанном, может идти речь в небе, когда они поднялись высоко, и он плывёт, будто по воде перебирая лохматыми своими лапами. А впереди, он знает, будут заросли камыша с коричневыми наверхиями, и в самой гуще зарослей стоит вожак, от которого пахнет резиновыми броднями и ружейным маслом, а стреляным порошком ещё нет. Да и не может пахнуть, поскольку выстрел ещё не ударил по ушам и вылетевший пыж не упал на воду. Вот только старая женщина... Она-то здесь нехстати! И вообще — тут не до неё!

Нарубивши полешков, Олег сложил ветки и щепу под днище чайника, достал спички, чиркнул и подпалил кусок бересты. Береста взялась радостно, будто только того и ждала. Сперва пустила малюсенькие, но прыткие дымные язычки пламени, подхватываемые ветерком, налетающим с воды, потом заскворчала, а следом запыхала страстно, по-настоящему. Ну вот, костёр занялся. Теперь можно и перекурить. Он пошёл к машине, полез в бардачок за сигарой, обрезал, прикурил от прикуривателя. А когда распрямился и повернулся лицом к костерку, увидел возле неопределённых лет тщедушного, давно небритого мужичка в вязанной лохматой кепке, насунутой на глаза, мятом кургузом пиджачонке, замызганных брюках, заправленных в сапоги, отродясь, похоже, не чищенных. А рядом, подобно собаке на поводке — козёл. Чёрный, нечесаный, рогатый козлище, весь в репьях. Откуда они взялись? Ведь вокруг открытое пространство, и ещё мгновение назад не было заметно никакого движения. А вот взялись... Мужичок и козёл смотрели на него. А Олег оторопело глядел на незнамо откуда взявшихся пришлецов.

— Драсте вам, — нареспев, тенорком произнёс мужичок. — Не помешали ли, слушаем, вашей задумчивости? А табачок-то у вас духмяненький! — он потянул носом, чем-то напоминающий свиной пятачок, вероятно, из-за крайней курносости и вывернутых ноздрей. — Справный табачок. Ага! Сигарками тешитесь? Дорогонькое удовольствие...

— Здравствуйте! — ответил Олег.

— А ты поклонись, поклонись, — сказал мужичок, обращаясь к козлу, — вырази свою воспитанность.

Козёл послушно тряханул троекратно бородой, словно и взаправду выказал почтение человеку, чьё уединение они с поводырём посмели нарушить. Это выглядело забавно. Олег даже улыбнулся:

— Вы из цирка?

— Неа! Мы местноприбывающие... Меня Молочаем деревенские клечат. А он, а он, — мужичок указал на козла, — Берия. Так, что ли? — спросил он, обращаясь к

животному.

— Бе-е-е-е! — ответил козёл, как бы подтверждая истинность сказанного.

— А вас как именовать?

— Олег.

— Как же, как же: Олег, отмстивший неразумным хазарам...

— Что-то вроде того...

— А хазар-то — хватъ — и нетути!

— Куда же они подевались? — Олег засмеялся, поневоле включаясь в шутливый тон начавшегося разговора.

— А их отродясь тут и не было. Какие хазары в деревне? Хазары всё больше в городах. При хлебных должностях. Или не так? А? Туточки только мы. Я да Берия.

— Бе-е-е! — как бы желая поддержать беседу, утверждающе проблеял козёл.

А чайник всё не хотел закипать. Олег полез в укладку и достал коробочку с заваркой. Коробочка непочатая, привезённая из самого Лондона.

— Чаёк-то издалёко привезённый, я смотрю, — заметил пришлец. И Олег отметил про себя остроту его зрения.

— Да, это так. Из Лондона.

— Глянь-ка, Берия; из самого Лондона! Попьём, попьём, коли угостят, не отринем угощеньице... Так вы сами тоже из тех краёв, сталбыть?

— Отчасти оттуда.

— Отчасти, хе-хе-хе...

Олегу на миг показалось: он уже слышал, совсем недавно слышал это характерное хехеканье. Только от кого? Но не стал вспоминать — мало ли что и где слышал.

— Вы из местных?

— А что?

— Имя чудное...

— То не имя, а прозвище. Живу, топчу землю. А так — из коренных. Из самых тутошних, что ни есть.

— А козла на поводке зачем?

— Это он меня водит... Х-хе-хе. Я его, а он меня. Да, Берия? — и вновь козёл заблеял как бы утвердительно. — Пастух я, хе-хе-хе... Пасу. А Берия у меня в помощниках. Главный загонщик.

— Обычно с собаками пасут.

— Не люблю собак, — пришлеца даже передёрнуло. — Он у меня лучше всякой псятины. Умён. Всё понимает. Собака что? Зайца учуяла — и за косым вдогон. А он — нет! Так вы здесь, приехавши из Лондона, что: время лишнее поистратить в праздности или присматриваете дело какое?

— Да какое тут может быть дело? — усмехнулся Олег...

— Э, не скажите! Тут разные наезжают. Землицы прикупить или вовсе всю деревню на корню... Как по телевизору говорят: интервьюировать в сельхозпроизводство.

— Инвестировать, вы имеете в виду?

— Ну да, ну да! Только не советую!

— Почему?

— Разворуем.

— Вы разворуете?

— А чем я других плоше? Хе-хе-хе! Правда, уважаемый? — спросил он, обращаясь к козлу, и вновь козёл проблеял в ответ.

Олег вгляделся в глаза козла, и отчего-то холодок пополз по спине от лопаток вниз, вдоль позвоночника. Ему показалось — или не показалось — что взгляд этой чернущей скотины абсолютно разумен, и Берия действительно участвует в разговоре, изредка отпуская блеющие реплики.

— А стада-то ваши где? — спросил Олег пришлеца и подумал, что холодок по спине от той простуды, с которой он прилетел домой.

— Хе-хе-хе! Нашли, что спрашивать, уважаемый, хе-хе-хе! Никаких стадов! Как только колхоз под нож председатель пустил, так коровы и на подворьях повывелись. Раньше-то было два гурта, а всего сто двадцать голов.... И-эх! Тырили, конечно, почём зря корма колхозные, но молоко с подворий зато у деревенских в колхоз брали. Чем не крепостное право? А теперь свобода... да, Берия?

— А кого же теперь пасёте?

— Вас и пасу. Хе-хе-хе, — вновь этот знакомый дребезжащий смешок.

— Меня?

— А что? Всю жизнь кого-нибудь пасём. Самих себя и то пасём, кнутом охаживаем. И нас кто-нибудь пасёт. И тоже по разным местам и чем ни попадя — куда достаёт... Хе-хе-хе! Или не так?

Козёл, как показалось Олегу, одобрительно заблеял, будто засмеялся: «Бе-бе-бе».

Олегу захотелось взглянуть в глаза самодельного философа. Но кепка глубоко на-сунута была на лоб, и лохматый козырёк прикрывал глаза. Зато козлиные глаза ясно светились сквозь сгустки шерсти. Взгляд вертикальных чёрных зрачков пристален и осмыслен. Пожалуй, не столь уж и глуп этот козлопас. На Западе, в том же Лондоне, под немолчный гул разговоров о свободе, тамошние управители давно и умело с этой самой свободой управляют. Люди, в простоте своей, упорно предпочитают не думать о том, что находятся под колпаком всевидящих наблюдателей, к услугам которых все технические устройства, созданные якобы для удобства жизни и хозяйственного обихода. Это раньше можно было жить не тужить и быть уверенным, что твои мелкие житейские радости мало кому интересны. А теперь... Олег вспомнил, как они вместе с Надой выбирали с помощью интернет-поисковика кухонный комбайн и заказали нужную машину. А поисковик ещё долго-долго продолжал, как бы случайно, выдавать новые и новые предложения по кухонным комбайнам различных модификаций. Да и сам факт покупки не мог не отпечататься в безразмерной и цепкой электронной памяти интернет-магазина и фирмы производителя.

— Да! Это так! — как бы подхватывая размышления Олега, продолжил Молочай. — Думаете, на воле козлом скачете. А сами, как мой друганчик Берия, на верёвочке. Или я у него — неважно, главное — на верёвочке, ха-ха! И скачете по команде. Хоп, Берия! Хоп-хоп! — и козёл послушно дважды скакнул.

— Ловко он надрессирован, — засмеялся Олег, — как в цирке.

— Это вы понапрасну... Берия мой про цирк разговоров не любит. Цирк — зрелище не интеллектуальное. Не интеллигентное. Хе-хе-хе!

Козёл, кажется, и действительно обиделся на сказанное, кудлатая аспидная шесть вроде бы даже вздыбилась. Он лёг на траву и отвернулся от собеседников.

А Молочай-то каков, подумал Олег, пастух вроде бы простой, да не простой; про интеллектуальность и интеллигентность толкует... Прикидывается, что ли...

— А вы лишнего не думайте, — опять подхватывая вслух нить бессловесных рассуждений Олега, продолжил Молочай. — Вы же сюда, поди, за простотой и ясностью из своего премудрого Лондона заехали. Простоту ищите. Знаем мы вас, добывателей правды заезжих! А простота, она простодыростью оборачивается. Неча потому сюда и нос казать. Сторона, как понимаю, здешняя — родная? А?

— В определённом смысле...

— Душу, стало быть, щемит, ностальгия мучает. Старушка какая-нибудь полузабытая ждёт вас не дождётся: когда мой маленький соизволит прибыть, в последний путь проводить. Жалко родной угол-то оставлять. И жалко, да расставаться надо. Прощаться надо! И не жалеете! И на старых зазнов не оглядываетесь. Не жалеете! Ликвидируйте имущество — и в вавилонские пределы.

— Куда, вы сказали?

— В свои, вавилонские...

— А здесь что?

— Здешняя земля — выморочная. Для иных припасенная. Другим здесь властвовать. Недолго до того осталось. А прошлое не воротить, как некоторые чают. Вон Партков, что вам повстречался, в деревне дурью мается. А сам завтра отправится на вечные муки. Боится хрен старый, про бога завспоминал. Всё: бог, бог, бог, — Молочая даже передёрнуло. — Всю жизнь красноголовым был, страдальцем за дело партии! А таперица уверовал, креститься дозволяет. Истовый! Что в пионерах, что в комсомольцах, что в партии — и не подходит! Немного ему времени не хватило, чтобы оглодки церкви снести. Прямо чуточек. Не успел нашим угодить.

Откуда, подумал Олег, он про его встречу с Партковым знает? Мистика какая-то, чепуха... И про церковь... каким-таким «нашим» хотел этот смешной старик угодить?

— Да таким! — отвечая Олегу на его мысли, сказал Молочай. — Нашим — и всё. Правильно я говорю, Берия?

— Бе-е-е! — отвечивал козёл, однако не поворачивая головы к Молочаю.

— Вот вы говорите, что возврата не будет. А церковь-то восстанавливается. Там склад располагался, это я хорошо помню. А сейчас...

— И-и-и-и! Церковь! И вы туда же! — буквально взвился Молочай. — Везде этому конец приходит. Вестминстерское аббатство — это же декорация. Туристов туда только водить за деньги. Да и то... В Англии вашей много ли церквей? Все позакрывались. Прибытка никакого. Конец распятому! Конец!

— Бе-е-е! — заблекотал козёл и вскочил, уставившись на Олега.

Удивительной показалась эта страстная вспышка. Как молния полыхнула. Сам Олег ко всему, связанному с религией, был, пожалуй, равнодушен. Не понимал вос-торгов по поводу церковной архитектуры, хоть западной, хоть восточной традиции. Всякая готика казалась ему вычурной сверх меры, избыточной и надоедливой. Да и русские соборы... Какая-то виделась ему приторность, словно не дом бога пред ним, а

нечто вроде торта, увенчанного разноцветными нашлёпками крема. Всё это не вписывалось в строгую логику виртуального пространства, в котором он обитал, где искал и, как ему казалось, находил спасение от несовершенства окружающего мира. В музеях, куда почти силком приводила его Нада, он, скорее, из вежливости поддакивал ей по поводу живописных полотен на религиозные сюжеты. Пожалуй, больше ему нравился Рубенс, хотя тётки на его полотнах явно были жирноваты. Другое дело Нада; всё у неё есть, но в меру. А Туля? У Тулии тоже всё в меру — следила она все эти годы за собой, что ли? Но всё равно — поплыла, пообмякла Тулечка. Не в её пользу сравнение...

И тут чайник закипел.

9

А Флаю снилось: бежит он по своим собачьим делам по асфальтовой дорожке безо всякого такого поводка один-одинёшенек, что само по себе достаточно удивительно. Никого рядом. Он один и свободен. Воля редко выпадает собакам, живущим в доме. Это всякие бродячие дурни носятся где попало. Им везёт. Они могут наткнуться на такие места, где можно порыться, отыскивая что-то такое заманчиво душистое, косточку свиную или даже говяжью трубчатую, лежалую да заветревшую. Старая женщина этого не понимает, натянет поводок и покрикивает: «Фу!» — как будто разбирается в косточках и всём прочем, что составляет отраду собачьему вкусу. Да с ней и не побегаешь. Можно только плестись рядышком. А сейчас он бежит один, и бег его пружинист, и когти скребут по асфальту, стачиваясь на бегу — а то отросли излишне на половичках да деревянных крашенных полах дома. Дом, как место своего пребывания, хорош. Его и охранять приятно, взрыкивая на всякого, кто смеет преступить невидимую, но ясно унюхиваемую черту, отделяющую своё и только своё от всего прочего и чьего-то, столь же явственно ощутимого не своего. Вчера, например, дом был кошачий. И от женщины этой пахло так, как никогда не пахло, пока вожак у неё не побывал. А свобода... Флаю мерещилось, что он бежит уже не по асфальту, но где-то за городом, и дорожка пролегла через какую-то смутность, которая и не пахнет ничем. Но вот дорожка куда-то подевалась, и опять запахло кустами, мокрой их корой и влажной землёй, пронизанной ходами дождевых червей, а также неведомыми жуками, что заползли под опавшую и также влажную, жёлто-пегую листву. А затем пёс ощутил, что плывёт в густой, студёной воде старицы, перебирает лапами, торопится доплыть до камышей, куда камнем упал крикаш, сраженный выстрелом Вожака. Селезень падал, теряя в предсмертном полёте пёрышки, выбитые кучно попавшей в него дробью. А в воздухе ещё какое-то время — Флай явственно чувствовал — сохранялся острый, ни с чем несравнимый запах птичьего пуха и дробинок, остывающих на лету в напитанном влагой, стылом ветерке, изрешечённом этими летящими дробинками.

Олег вскрыл коробку с чаем, высыпал чайинки на ладонь горкой — он любил крепко заваренный. Высыпал в чайник и снял его с огня — пусть настаивается. Нада, чудачка, не разделяла его привязанности к чёрному густому настою. И если пила заварной чай, то только из желания понять: что же такое может привлекать любимого ею мужчину в этой горячей, терпкой жидкости? Сама она жаловала только кофе из кофемашины или эспрессо в баре и редко-редко чай из пакетиков, где и чая-то не было толком, лишь некий ароматизированный прах.

— А вот моего, — оживился Молочай, — не жалеешь ли добавить? — и принялся развязывать котомку, которую до этого Олег у него не примечал. Развязал, достал тряпицу. В тряпицу была завернута металлическая золотистая коробочка довольно причудливой звездообразной формы.

— А что это у вас? — спросил Олег, поразившись виду коробочки, столь не вязавшейся с грязноватой котомкой и явно нечистыми руками замурзанного, невесть откуда взявшегося собеседника, от которого, кстати, припахивало так же, как и от козла.

— А ты нюхни, нюхни... Сбор лесной. Сам сбирывал, — Молочай протянул коробочку Олегу.

— И что в нем?

— Дак всёго понемногу... Смородиновый листок тёртый, шиповничек, вишарник, чаберу сушеного чуток, зверобойчику самая малость.

Олег взял коробочку и поразился её тяжести. «Словно литая», — подумал он. Запах смеси, хранящейся в коробочке, что и говорить, богатый. Пахнет, будто только что сорваны травы да листочки. Однако, поверх знакомых, новый и вовсе незнакомый, будоражащий какой-то дух. Что-то вроде индийских пряностей, какими, как он помнил, буквально пропитан воздух в индийском квартале Сингапура, где ему довелось побывать. Олег сразу же вспомнил торговца-индуса в белом одеянии, а пред ним — штук сорок мешочков с разноцветными снадобьями.

— Чем ещё пахнет?

— А ещё завивай-трав... Заметил? Нос у тебя...

— Что за трава?

— Хорошая травка. Растёт... и не различишь середь другой. А он, — Молочай показал на козла, — скоком скачет, как её почует. Нащиплет и взбрыкивать начинает, ровно молодой.

— Бе-е-е-е! — подал голос козёл, учуявший, видно, заветный запах.

— Ты не бойся! Подсыпай. И горлу твоему полегчает.

Откуда бы ему знать про своё горло, которое и вправду саднит, подумал Олег. Он уже рассосал три патентованные пастилки, которые брал с собой, но радикального улучшения не наступило. А травка? Какой вред от самодельных добавок? И он вновь вспомнил отца, колдующего над походным чайником. Воспоминание было столь явственным, будто отец каким-то образом оказался сейчас и здесь и вот-вот выйдет из-за дуба с намерением что-то важное сказать.

— Сыпь, — повторил Молочай. Олег высыпал щепоть смеси в чайник, и вода забурлила, будто со дна ударил ключ. — Теперь пусть настоится.

— А что за металл? — спросил Олег, передавая коробочку Молочаю.

— Орихалк называется.

— Орихалк? Не знаю...

— Старинная штука, очень... С незапамятных времён...

И вновь Олегу померещился отец, точнее, его лицо, словно бы вплетённое в узоры дубовой коры. При жизни обычно улыбчивое, было оно теперь серьёзно, как на фотографии, снятой для документов. Просто поразительно, до какой степени явственно оно выдилось. Точно заболела, подумал Олег. Странно, странно всё с ним происходящее, какая-то в этом во всём нереальность. Молочай этот, как из-под земли взявшийся, козёл, больно уж разумно блеющий. Подумал, но не стал додумывать завязывающееся было размышление. Словно рукой отмахнулся, хотя такое недомыслие ему, в принципе, несвойственно. В иное время задумался бы обо всех несуразностях: и про козла, и про занятную коробочку из незнаемого орихалка, и о самом собеседнике, лицо которого, как показалось Олегу, даже и поменялось, будто какая-то наволочь стала пропитывать кожу, просачиваясь изнутри, заставляя её коричневеть. Олег полез в укладку, достал походную металлическую кружку для себя и пластиковый стакан для гостя. Повернулся и увидел в руках у Молочая занятный толстостенный стеклянный бокал переливающегося цвета.

— Не побрезгуешь из моей посуды? Знатнейший бокал. Для особого случая берегу.

— Бе-е-е-е! — как бы подтвердил сказанное козёл.

Флаю сделалось зябко. Он уже никуда не плыл, а лежал на правом, больном боку на траве, свернувшись калачиком. Трава была та самая, о которой он знал, что она доподлинно собачья трава и должна помочь ему в его беде. Только дышать её запахом надо долго. Чтобы солнце зашло и потом опять стало светло, и ещё одну ночь и день. Дышать и дышать. Хотя он понимал, что стал стар, как старая женщина. Ему дано было умение распознавать запах собственной и человеческой старости. Другое дело — вожак. Вот от кого пахнет силой и уверенностью, хотя, по мнению Флая, дрянной, забивающий ему нос запах того, чем он мажет своё лицо утром, многое портит. Воспоминание о вожаке заставило его встрепенуться. В прежние поры он вскочил бы тут же и встал на лапы. А сейчас сначала сел не без труда. Посидел, собрался с силами. А затем встал на четыре лапы. Да, вожак!! Где он? Где? Ага, он там, откуда потянуло зябкой сыростью, проникающей под шкуру, чёрной тьмой, как от котла, что в последнее время стал часто, даже слишком часто, назло ему, дерзостно, под самым носом пересекать дорогу. Экая тварь, мерзость! Кот словно бы знает, что Флаю недостаёт резвости для поимки. Хотя, погонись за ним, кот вскочит на дерево, заберётся на сук и станет шипеть, изливаясь в злобе. А ещё запахло тем самым гнилостным человечешкой, что стучал в дверь дома. А ещё тем непонятным, невидимым, но заведомо гибельным духом, которому он не мог имени подобрать. Да и какие могут быть слова — он же бессловесен, да и не нужны ему слова. Ибо что толку в словах, когда и без них ясно, что с хозяином совсем рядом сгустилась какая-то беда. И Флай, как ему казалось, побежал, вычуивая всё усиливающийся запах беды. Хотя какой это бег — скорее, ковыляние и пошатывание на ходу.

Олег взял в руки бокал. Он тоже был тяжёл, как и коробочка из неведомого орихалка. У бокала толстое и тяжёлое дно. А стенки... Показалось, они двойные и меж ними будто бы заключена непонятная жидкая субстанция, состоящая из множества тягучих, разноцветных, опалесцирующих струек, не смешивающихся друг с другом.

— Нравится? — Олегу померещилось, вопрос задал козёл, ибо борода его спутанная колыхнулась, а Молочай рта не раскрывал. Но это уже не удивляло Олега

— Интересная штука. Похоже, антиквариат... Даже боязно горячее наливать. Не лопнет?

— Не бойсь! Им хоть о камень бей! Хе-хе-хе! Древняя работа. Древнее древнего. Даже в Древнем Риме он древним считался. Там на сатурналиях цари из них вино пили.

— Цари? — поразился Олег. — Разве там не республика была? — странным, противоестественным, невероятным казался ему разговор о каких-то сатурналиях и римских царях с грязным деревенским козопасом. Но ощущение странности, ирреальности происходящего вспыхнуло и угасло тут же само собой.

— Цари... Хе-хе! На один толечко день освобождались из рабства. На то и сатурналии, чтобы хоть денёк, да поцарствовать. Самый наш праздник! Как седьмое ноября — красный день календаря. Гуляй, рвань, на три копейки! Чтобы нажраться да проплевется.

— Бе-е-е-е!

— Точно, Берия! Скотство одно, однако такое сладкое, сладенькое, сладюсенькое... Хе-хе-хе!

И вновь это душу царапающее хехеканье! А от чайника с заваркой всё сильнее веет тягучий какой-то и одновременно заворачивающий запах травы.

— Как трава-то называется? Я забыл.

— Назови, как хочешь, — не имеет значения. Хе-хе-хе!

— Бе-е-е-е!

Олег налил настоявшегося чая в бокал. Цветные нити в стенках будто бы задвигались быстрее. Он повернулся к Молочаю. А у того ладони чашей сложены.

— Куда лить?

— Мне прямо сюда. У меня руки привычные. Не бойсь!

Не удивляясь почему-то самому себе, Олег покорно плеснул кипяток в подставленные грязные ладони, понимая, что делать этого никак нельзя. Но налил полные пригоршни, и Молочай тут же, с шумом всосал налитое и вновь протянул ладони. И вновь жадно выхлебал. А затем вытер мокрые ладони о затасканные штаны.

— Теперь и ты пей! Пей-пей-пей!

Олег пригубил сперва осторожно. На вкус — ничего такого особенного. Немного напомнило давно забытый с детских времён вкус солодского корня. И он выпил весь бокал.

— Ну, и...

— Да ничего особенного, — сказал Олег. И тут же ощутил, что особенное — вот оно...

А Флай упал. Он никогда в долгой своей собачьей жизни не падал, если не считать щенячьих месяцев, когда лапы были коротки и враспырку, а он легко заваливался набок, а потом вставал с трудом или просто подползал к тёплому брюху матери и находил, расталкивая братьев и сестёр, тёплый и вкусный сосок матери. А теперь упал и встать не в силах. Но вставать надо! Надо! Он заперебирал лапами. Заперебирал и уже почти встал, но, обессилев, вновь повалился набок.

— Наркотик? — спросил Олег.

— Неа! — отрицательно закачал головой Молочай. И заулыбался. — Это называется зыбун-трава. — Он заулыбался, да так, что Олегу показалось, будто рот козопаса разверзся от уха до уха.

— Точно зыбун-трава?

— Да хоть забывай-трава.

— А что мне забыть?

— Всё. Ты же из Лондона своего вернулся, чтобы забыть всё. Распродать и забыть. Или не так? А? А? Хе-хе-хе...

Странные изменения происходили с лицом Молочая. Оно непрестанно то вытягивалось, превращаясь в подобие столбика с точечками глаз и рта, то собиралось складками, в которых тонули лоб, подбородок, глаза и щёки, и оставались одни губы, как бы выжовывавшие слова. Голос загустевал с каждым произнесённым словом, делаясь всё басовитее. Его хихиканье и вовсе прозвучало, будто вырвалось из органной трубы самого низкого, рычащего регистра. Слова растягивались, подобно чёрному, резинового какому-то жгуту, и жгут этот уже и не жгут, а живая, лоснящаяся змея. Чёрная змеюка, как когда-то в Нигерии... Их машина, вспомнил Олег, как-то переехала змею, переползавшую рыжую дорожку. Чёрный, как вороново крыло, водитель тут же затормозил, выскочил из джипа с весёлым воплем, схватил дохлую змею и закинул в багажник. «Вкусно будет», — пояснил он свою радость Олегу.

— Зач-ч-че-е-ем? — Олег с трудом выдавил из себя это слово, обращаясь к Молочаю.

— Что зачем?

— Ты меня этим напоил... Отравить? — Олегу казалось, что и его слова густеют и растягиваются.

- Помочь тебе...
- Бе-е-е-е! — словно в рифму проблеял козёл.
- Зачем травить тебя, сущеглупый! Ты и так наш. Наш-наш!
- Бе-е-е-е!
- Ва-а-а-аш?
- А чей ещё?

Олегу показалось, что его, как сазана из давешнего сна в самолёте, тянут куда-то в иной мир. И крючок — да что там крючок — крюк кованый, лужёный, как в мясной лавке, впился в горло и вырывает кадык. А Молочай продолжал утробным голосом исторгать слова тяжёлые, похожие на мокрые, расплзающиеся под собственным весом липкие глиняные комья:

— Всё одно тебе здесь не жить. Никому не жить. Всё кончилось. И старуха твоя кончилась...

— Бо-о-оля?!

— Только что... Откинулась. И дому вашему конец. Всему конец. Выморочная эта земля. Разные народы здесь жили, землю топтали. И откочевали навеки. В землю, землю. Хе-хе-хе. Одни курганы немые оставили, полные никому ненужного барахла. А теперь и вы уходите.

— А ты, что ли, вечный?

— Мы тутошние. Я и Берия.

— Бе-е-е-е!

— Мы здешние. Прежде всех. Изначально и навсегда, — лицо Молочая вновь преобразилось, и он стал невероятным образом походить на однажды виденного Олегом колдуна из глухой африканской деревни.

Поразительно: Олег видел и Молочая, и козла, и самого себя, сидящего на земле, и чашу с непрестанно переливающимися цветными узорами, одновременно осознавая, что глаза его плотно закрыты. А веки — словно жидким свинцом налиты. Неимоверным усилием он приподнял веки и узнал вновь лицо отца в узорах коры старого дуба. Отец смотрел строго и что-то ему говорил. Но что? Слов не было слышно...

— А ты пей, — всё повторял Молочай. — Пей-пей, допивай. Не пропадать же добру...

«Но этого же не может быть, — молча, сам себе говорил Олег, — не может такого быть. Это бред, бред. Я заболел».

— Может-может! — убеждал его Молочай, вслух отвечая на бессловесные сомнения Олега.

Флай наконец-то одолел собственную немощь и встал на четыре лапы. Ему показалось даже, что сил прибавилось. И он посеял в ту сторону, где был вожак, которому нужна его помощь.

— А... псытина, ожил. Живучая тварь! — злобно произнёс Молочай. — Любит тебя. Сильно любит, — и лицо его приняло первичный облик.

— Бе-бе-бе, — заблекотал козёл.

— А что я могу? Что? Что-о-о? — завопил Молочай, обращаясь к козлу. — Он, хвостатый, подохнуть должен. А он, псина такая, живой ещё. И любит. Понимаешь, любит! Тебе этого не понять, скотине!! И не мучай меня! Не мучай!

— Бе-е-е-е-е-е! — проблеял козел и начал, как показалось Олегу, превращаться в большой черный комок шерсти, колеблемый поднявшимся вдруг сильным ветром. А затем комок, повисший было в воздухе, сделался черным дымом, и его рассеяло, утянувши по ветру прочь.

Олег повернул голову, и сквозь закрытые, по-прежнему свинцом налитые веки увидел, как, продираясь сквозь подлесок, бежит к нему Флай. Ах, как он бежал, дурошлёп эдакий!

10

Клевало так, как давно не клевало! Не успевал поплавок лечь на воду и встать торчком, как его утягивало в холодную тёмную глубь. А там, будто кто-то наматывает леску на тугой кулак и тянет так, что того и гляди сдернет с лодки или утянет вместе с лодкой — хорошо, она крепко-накрепко привязана к чигию. А тот вбит в дно речное глубоко, надёжно — зря, что ли, они с Сэмом мухобились, вбивая. И рыба-то идёт отменная: всё сазаны один за другим и лопатоподобные лещи. Но с теми проще. Выведи его на поверхность воды, хлебнёт красавец воздуха и ложится плашмя — подтягивай ближе и заводи подсачник. А туристы, наблюдающие за ходом рыбалки с палубы крейсера Её Величества «Белфаст», навечно пришвартованного к набережной Темзы и нависающего серым бронированным бортом над их лодкой, встречают каждую выуженную рыбку восторженными восклицаниями. Особенно усердствуют сикхи в белых своих чалмах. Сэм приветливо машет рукой и сикхам, и бесплотным старушенциям-пенсио-

неркам, размахивающим маленькими британскими флажками, насаженными на пластиковые флажки. А на другой стороне Темзы, с набережной под стенами Тауэра мечется Нада и пытается докричаться до Олега. Но где там! Темза-то широкая. Да и Лондон шумит вовсю. И пусть шумит! Главное — клюёт. И отрываться от этого занятия вовсе не хочется. Но всё же чей-то незнакомый женский голос звучит и звучит, как будто женщина сидит рядом с ними в лодке посреди Темзы. И самое удивительное, говорит по-русски. И это мешает её понять — всё-таки Лондон вокруг, и вот он — London Bridge, и по нему едут и едут автомашины с левосторонним рулём, а женщина продолжает говорить на абсолютно неуместном здесь русском с характерными, именно русскими интонациями и легким потягом гласных. Олег наконец-то вслушался и расслышал:

— Мил человек! Ты живой? Ты живой, мил человек? А? Эй, отзовись...

Олег очнулся. Темза и крейсер «Белфаст» как бы растаяли, растворились, унеслись по течению реки, остались по ту сторону сознания, но всё ещё были рядом, потому что он слышал, как Сэм крутил катушку с леской, и она трещала, проворачиваясь. Но он уже был здесь. А где здесь? Кто-то дотрагивался до его плеча. Глаза, однако, ещё не открывались. Веки по-прежнему тяжелы. Женский голос, но это не Нада. Не молодой голос....

— А собачка твоя, видно, того...

Олег ощутил холодную тяжесть на груди. С трудом открыл глаза. Виделось плохо. Будто сквозь матовое стекло. Над ним склонилась женщина, явно немолодая, в платке. Он снова погрузился в какую-то странную истому. Но пересилил слабость и вновь открыл глаза. Теперь он ясно уже разглядел лицо женщины, которое обрамлял пестроцветный платок. Морщины, сухие, не накрашенные губы, обесцветившие от возраста глаза, что были когда-то, скорее всего, голубыми. Взгляд внимательный и сочувствующий. Олег решил, что надо встать. Но что-то тяжёлое придавило руку и грудь слева. Он скосил глаза и понял, что это Флай, уткнувшийся ему в грудь носом. Пёс был мёртв. Олег высвободил руку из-под остывшего собачьего тела и сел. Всё вокруг заплесало, заплесало перед глазами. Боль взорвалась внизу, у поясницы, пронизала тело и взорвалась где-то у основания черепа, ворвавшись в голову. Он никогда не испытывал такой боли.

— Помочь? — спросила женщина.

— Я долго... тут?

— Не знаю. Пошла по грибы... Гляжу... А собачка-то того... Красивый был пёсик.

— А этот где?

— Кто этот?

— С которым мы чай пили... С козлом...

Боль теперь пульсировала в такт колотящемуся сердцу. Но колышущийся в его глазах мир успокоился и перестал плясать. Олег встал на ноги.

— С козлом? Чай? Водочки, может? Ты пойдёшь присядь, — и женщина легонько подтолкнула Олега к машине. «Она меня пьяным считает», — подумал Олег. Он сделал три неверных шага, и женщина поддерживала его под руку. — Что же вы, ребята молодые, пьёте-то так? Всё уж пропили...

Олег сел на правое сиденье, и опять перемена в положении тела принесла новый приступ боли. «Что же это со мной?» — никак не мог понять он.

— Городские, — ворчливо продолжала женщина, — вроде культурные, а вечное дело: приедут на природу и пьют, и пьют, и пьют. Посуды набросают... А вы что употребляли? Бутылок не видеть. Пили-то что?

Боль немного отступила. Олег прислонился к сидению спиной и почувствовал, как, оказывается, промёрз, лёжа навзничь на земле.

— Да не пил я водки, — ответил он женщине. — Чай я пил с одним местным. Пастух он ваш.

— Па-а-астух? У нас и пасти-то некого!

— Назвался пастухом.

— Вот оно что! Не он ли чай заваривал?

— Вы знаете его?

— Догадываюсь, кажется. А как назвался?

Олег хотел произнести имя, но вдруг понял, что память ему изменила. Помнит, что это и не имя, а прозвище. А какое прозвище... И лица не помнит. В глазах стоит только осмысленный — с ума сойти — взгляд козла, который и не козёл вовсе, а всего лишь сгусток чёрного дыма. И опять веки у Олега отяжелели, опустились, и вновь заструилась вода Темзы.

— Мил человек, мил человек, да ты никак болен? — услышал Олег сквозь забытьё.

— Тебя бы ко врачу, а у нас в Орловке и фельдшера упразднили. Теперь в район приехали ездить за семь вёрст киселя хлебать. Ты сам-то доедешь?

— Доеду, — он открыл глаза. Пред ним стояла немолодая, полноватая женщина в кофте домашней вязки, спортивных рейтузах, заправленных в резиновые полусапожки. Рядом — плетёная большая корзина, доверху полная грибами. Взгляд участливый, однако, и не без скепсиса, видно, она всё ещё полагала, что всему виной алкоголь.

— Вы когда подошли, я тут один был?

— Как есть, один. И пёсик рядомдохлый.

— Вас как звать?

— Вера Павловна. А вас?

— Олег.

— А по батюшке?

— Просто Олег. Спасибо вам!

— Да за что?

— Что мимо не прошли, растолкали. А то я бы тут совсем окошел на голой земле, — он подумал, что в славном городе Лондоне многие могли бы и мимо пройти — в чужую жизнь вмешиваться там не принято. Они с Надой много раз наблюдали в тамошних парках людей, безмятежно, часами лежащих прямо на траве газона. Лежат — и ничего: спят ли, без памяти ли — кто разберёт. Хотя иногда бобби — полисмен в чёрном шлеме — может и подойти: «Сэр, вы в порядке?» И обратиться никак иначе нельзя: только сэр. А иначе — Habeas Corpus! Неприкосновенность личности!

— Мил человек! Да что же за это благодарить! Так вы сказали, он пастухом назвался?

— Да! — и опять приступ боли пронизал его с самого низа спины до головы.

— И чай он вам заваривал?

— Чай я сам заварил, а он травы предложил для аромата.

— Тогда это он! Он! Он! Опять объявился! Грязный такой? Как с мусорной кучи?

— Кто он?

— Не разбери-пойми. Купил выморочный дом у нас в Орловке. Чем жил — непонятно. Курам, что от прежних хозяев остались, всем разом головы поотрубал. Потом нанялся скотину пасти. Только добром это не кончилось — коровы запаршивели, бородавками вымя покрылось. Скотина мучилась. Хозяйки ревут. У меня первотёлка такая славная, такая славная... Сколько тогда голов под нож пустили — страшное дело. Ну, и погнали его с пастухов...

— А он с козлом пас?

— Дался вам этот козёл! Никакого козла у него отродясь не было. Кошки, и те в дому не приживались. А грамотный! Всю библиотеку у меня перечитал — я библиотекой заведую. У нас хорошая библиотека, в прежние времена наш председатель колхоза — Порфирьев Игнат Игнатыч — слышали, может быть, Герой соцтруда, — денег колхозных на книги не жалел. Другой такой библиотеки нигде окрест не найдёте. Даже и в райцентре. Хотя, конечно, пообносились книжки — сижу на работе, лечу, борюсь с книжкиной инвалидностью. Правда, и читателей поубавилось.

— Молочаем он себя назвал, — вдруг вспомнил Олег. — Молочаем, — и вновь боль прошла его, словно откликаясь на оживающую память.

— Он, он, именно он! Явился, значит, опять. Явился — не запылится. А потом он повадился молодёжь у себя в дому привечать. Всё больше мальчишек, но и девочки захаживали. От прежних хозяев самовар на подлавке отыскал, стал о жизни беседы водить, чаем каким-то особым поить. И убалтывать горазд. Говорит тихонько, но с напругом, неостановимо. Вроде как с гипнозом знаком. Говорит-говорит, как тот, что по телевизору — помните — всё руками водил да воду жаряжал. Ребятам лестно, что с ними взрослый водится. Попьют-попьют они чая, наслушаются его речей и вроде как очумеют. Ходят-бродят, бог знает что городят, от рук отбиваются да и срываются с места... Всё бросают, родителям ничего не говорят, куда едут — неведомо. И пропадают. Человек десять пропало. Да хорошие всё ребята! Хватились, а их и след простыл. Заявили родители в милицию. Участковый у нас на три села. Пока то да сё, пока бензин для машины добудет... А пастух этот как в воду канул. Мутный человек... Он и вас опоил зачем-то...

— Вы говорите о нём, как о нечистой силе какой-то...

— Батюшка наш о. Варнава так и сказал: «Нечистым духом его нанесло». Чёрт он или не чёрт, не разобрать. Может, обокрасть вас хотел?

Олег открыл бардачок. Документы на месте. Полез в карман куртки — бумажник вот он. И наличность, и кредитные карточки на местах. Ружье!! Его даже в пот бросило. Старый, отцовский «Merkel» — бокфлинт, или, по-русски сказать, «вертикалка», довоенной ещё старой, доброй, немецкой работы! Ему же цены нет! Он вылез из машины. И опять боль овладела телом. Он чуть не упал. Опираясь на машину, превозмогая боль, добрался до багажника. Открыл. Жёсткий кейс на месте. Открыл. В углублениях, отформованных в плотном жёлтом поролоне, бережно упокоены стволы с пристёгнутым цевьём и приклад орехового, морёного дерева с затвором и спуско-

выми крючками под изящной скобой. Не новый, конечно, но по-прежнему изящный, даже аристократичный, хотя и видавший виды, как отец говаривал, «мултук» — самая дорогая память о нём.

— Вы как, отживели? — спросила Вера Павловна. — А то я пойду.

— Ничего, — ответил Олег. — Все нормально. Спасибо вам! Сейчас Флая своего похороню и поеду.

— Не за что! Если что, заезжайте ко мне отлежаться. Улица Калинина, дом четырнадцать. У меня на коньке крыши петушок сидит. Ни у кого такого нет. Муж-покойник ладил. Так вас точно отпустило?

— Да-да.

Она подхватила корзину с грибами и зашагала в сторону деревни, переваливаясь с ноги на ногу.

Теперь дошло время и до Флая. Кончился пёс. Был, и не стало. Отбегался, отласкался. Вдруг всплыли в памяти злобные слова Молочая. Это же он о Флае! Значит, пёс мой милый в своём последнем, предсмертном устремлении поспешал к нему, уберечь старался от вражины этого. Он и дома что-то чуял, врагов угадывал, рычал, хотя никогда не был злобным — доброта неизреченная. Флай! Флай! Куда вознеслась собачья твоя душа? Где теперь летает? И снова боль пронзила его от поясницы до затылка, когда он полез в багажник за малой сапёрной лопаткой. Надо было похоронить собаку честь по чести, как он того заслуживал. Копать было тяжело. И потому, что копать приходилось сжавшийся сутлинок. И потому, что спина... Больно двигаться. Усилия подгоняли сердцебиение, приходилось останавливаться и пережидать, пока сердце утомонится. Наконец, могила показалась Олегу достаточно глубокой. Он снял старое, детское своё одеяло, постеленное на заднее сиденье машины, на котором лежал Флай, пока ехали. Затем перетащил мёртвое тело на одеяло и, ухвативши за уголок, потянул к могиле. Флай, Флай! Отмучился страдалец.

Интересно, как собаки воспринимают свою кончину? Понимают ли, что с ними происходит? Верят ли в своего, какого-нибудь особого собачьего бога? Станные, неизвестные раньше мысли крутились в голове Олега, пока он закапывал могилу. Откуда? Он никогда раньше всерьёз не задумывался о смерти. Всё как-то повода не было. Утраты, которые испытывал, особенно смерть мамы, он переживал остро, до неостановимой истерики. Однако это было давно. Но сейчас думать о смерти, о собачьей, тем более... Ощущение полноты жизни, превосходство молодого тела, которое ещё ни разу ему не отказывало, победительная сексуальность никак не способствовали глубоким размышлениям на эту тему. А вот теперь, когда земля укрыла мёртвое тело любящего его и любимого им существа, Олег впервые ощутил всю степень уязвимости и своего существования. А ещё вся эта история с Молочаем и отравлением... И тут его словно ожгло. Вспомнил: Боля! Этот чёрт, не чёрт, отравитель с козлом, Молочай этот поганый, сказал, что она скончалась! И понесло же его в такую даль! Хотел порадовать Флая напоследок, в конце его дней, перед тем как усыпить, чтоб не мучился пёс.

Превозмогая боль, Олег начал складывать в багажник всё, что успел прежде извлечь, торопился и уже не смотрел по сторонам, не любовался отражением прибрежного леса и камышей в воде. Да и отражений-то не было. Всё усиливающийся ветер, нагоняющий холод, взбужгачил воду. Солнце, с утра светившее ярко, будто задёгнуло марлевой занавеской. Боль, однако, поутихла, не пронзала до затылка, но в пояснице по-прежнему была такой, будто кто-то резко и неумолимо дергал какую-то больную чужую жилу. Вспомнил, что в машине должна быть аптечка. Достал упаковку с красным крестом на крышке: бинт, жгут, угольные таблетки. Ага! Пенталгин — то, что нужно! Разжевал — горечь горькая. Запил водой — должно же подействовать.

Теперь чайник; надо довести заварку до дома и попробовать понять, что там намешано. Но чайник был пуст. И сух, будто в нём и не было ничего. Он открыл укладку. Вот жестяная упаковка английского чая. С ума сойти — она и не вскрыта даже, а ведь он открывал, сыпал чайники в чайник, ставил на огонь. Да и огня не было, словно и не разводил он костерок, хотя растопка приготовлена, впору чиркать спичкой. Да... действительно, чертовщиной пахнет. Но думать на эту тему не хотелось и не могло. Главное — ехать, ехать, ехать. И всё-таки он раскрыл кейс, собрал ружьё, вставил в стволы два патрона и отсалютовал Флая. Переломил стволы, экстрактор вытянул из стволов стреляные гильзы, знакомо пахнувшие сгоревшим порохом. Если есть собачья душа, то пёс должен услышать звук выстрелов и возрадоваться, подумал Олег. А потом там, в ином собачьем мире, проследить падение утки на воду и без команды броситься вперёд, ликуя, что может доказать свою природную хватку и порадовать хозяина. Олег заплакал. Слёзы вроде бы подступили, и он предчувствовал, что вот-вот заволокут взор. Но они словно загустели и не шли. И это было страшнее: его стали сотрясать, как когда-то, бесслёзные рыдания, с которыми он ничего не мог поделать. О, то была стопроцентная истерика, и прошло некоторое время, пока она сошла на нет.

Пока Олег собирал вещи, пока закапывал Флая, пока горевал, его не оставляло чувство, что кто-то наблюдает за ним глазами цепкими и злыми. Он даже несколько раз озибался и вглядывался в колеблемые порывами ветра заросли камыша, уже увенчанные темно-коричневыми соплодиями, в качающийся под ветровыми нахлёстами молодой осинник и цапучие заросли начинающего назревать чёрноплодного шиповника. Давление недоброго взгляда было столь сильным, что он даже посмотрел на неразобранное ещё ружьё. Посмотрел и сам себе подивился и даже усмехнулся: будто от непонятной силы можно оборониться охотничьей двустовкой. Наконец, пора и ехать. Он осмотрел колёса, не спущены ли, и, кривясь от боли, уселся за руль. Машина завелась сразу, хотя Олег побаивался, что и здесь его настигнет какая-нибудь чертовщина. Однако обошлось. Теперь следовало поторапливаться. Он представил, как дома в своей кровати или на полу кухни лежит мёртвая Боля, так долго ждавшая, но так и не дождавшаяся любимого и бестолкового внука. Теперь он думал не о Флае, не о своей встрече с inferнальным этим козопасом, не о Лондоне и Сэме, не о своей сербкине, ни о ком и ни о чём и даже не о приступах боли, которая чуть-чуть поутишилась после лекарства, но всё же давала о себе знать, особенно когда машина подпрыгивала на кочках. Он уже не стал заезжать в Орловку, но сразу вывернул руль вправо и погнал машину на подъём из низины, где расположилась Орловка, в сторону города. Ему хотелось как можно скорее добраться до того места, где вновь заработает сотовая связь.

Всё: теперь оборвалась последняя нить, связывающая его со старым домом и всей историей живших в нём людей. Ну, и славно! Кому это теперь здесь, в этой стране, нужно? Никому! Конечно, придётся похоронить Болю, заказать и загрузить морской контейнер, а то и целых два, чтобы максимально вывезти всё, что будет ещё какое-то время сохранять память о всём том,житом годами, от чего он в своё время дистанцировался. А потом самому поджечь дом, чтобы никакой Бобон не посмел шарить там, где прошло его детство, и скалить свои дорогие вставные зубы, ликуя по поводу одержанной победы. Хотя — нет! Не получится поджечь! Половина дома — Юхана. Правда, он собирается ехать к камням предков на Саарема. Или не собирается? А где хоронить Болю? Наверное, рядом с мамой. В оградке осталось место. Там всё заросло, но это не беда. В прошлые свои приезды он нанимал каких-то хануриков, что гуртуются возле кладбищенской сторожки. Думается, они сейчас никуда не делись. А могилу придётся копать вручную.

Машина продолжала взбираться в гору. Хорошая машина. Умели же когда-то делать хорошие машины в стране Советов. Надо, надо забирать её в Лондон... А всё-таки сколько странностей произошло с ним в этот приезд, который Олег ещё перед вылетом из Лондона назвал последним. Вспомнился и таксист, встретивший его в аэропорту, и подручный Бобона с ускользающим взглядом и зрачками, как у наркомана, и сам Бобон с полным набором картинно-белых зубов, которые он, похоже, не без гордости скалил при разговоре. А гаишник на дороге, а козёл с Молочаем... Прямо-таки замок с привидениями, как в старой доброй Англии. Он даже улыбнулся, вспоминая.

Однажды, поддавшись рекламной уловке, они с Надой отправились в Уэльс, где в одном из замков, как их уверили, являлось посетителям привидение Белой дамы. Бедняжечку, так гласило предание, заживо замуровал в стене замка свирепый муж-рыцарь, опрометчиво поспешивший домой из похода и... Ночь они с Надой провели якобы в той самой спальне, где рыцарь обнаружил неверную в объятьях пажа. Они тоже, как герои предания, лежали, обнявшись в постели под бархатным балдахинном, и Нада прижималась к нему, как и положено по легенде. Примерно в пол часа третьего за скрипела и сама собой отворилась резная дверь старинного шкафа. Жуть-жуть-жуть! Но никакого скелета в шкафу, а только их плащи и верхняя одежда. И они облегчённо расхохотались. Потом откуда-то повеяло сырым холодом, и стали слышны шлепки босых ног по каменному полу. Нада взвизгнула и ещё сильнее прижалась к Олегу. А потом... Страх подстегнул вождение...

Наконец машина взобралась на самую верхушку самого высокого в цепи холмов водораздела. Впереди хороший асфальт и дорога домой. Домой! Олег включил мобильник. Засветился экран, явив целую вереницу пропущенных вызовов: Нада — три, Сэм — два, хитромудрый мистер Конвиссер из Техаса. Далее — вызов с незнакомого телефона, номер российский — четыре звонка, один за другим. Домашний номер. Всё — побоку. Нажал кнопку в ответ на вызов с домашнего: Бууп, бууп, бууп! «Чёрт! Не отвечает!» Бууп, бууп, бууп! Соединение установлено!

— Аллё! — голос Тули.

— Туля!

— О, наконец-то! Олег!

— Что? Что?

— Где тебя носит? — такая знакомая по прошлому и только усилившаяся за годы разлуки интонация со сварливинкой.

- Боля? Что Боля?
- Лежит.
- Где?
- На кровати. Я тебе обзвонилась!
- Она жива?
- Она нас с тобой переживёт! Но до сердечного приступа они её довели.
- Кто?
- Эти... представители застройщика.

— Стоп! — Олег нажал на тормоз, но педаль провалилась, и машина продолжала катиться всё с той же скоростью. — О, чёрт! Погоди, я перезвоню!

Теперь до полного комплекта не хватало только какого-нибудь пыхтящего нефтевоза на пути! Но обошлось. Машина по инерции проехала ещё какое-то расстояние, и Олегу удалось медленно и аккуратно вырулить на обочину, благо глубокого кювета при дороге не было. Он вспотел весь: от коротко стриженной макушки до пяток. Показалось даже, что в кроссовках захлюпало. В другой дорожной ситуации его ждала верная смерть. Да! По количеству адреналина денёк выдался рекордным! Опять заверещал телефон.

— Да!

— Милый! — звонила из Лондона Нада — Тебе плохо? — она говорила по-английски. — Я чувствую, тебе плохо... Что у тебя болит?

— Не беспокойся, — на русском ответил Олег. — Ничего.

— Не обманывай, — всё так же на английском продолжала она. — Я же чувствую. С самого утра, как проснулась.

— Не выдумывай.

— Я не выдумываю. Ты же знаешь, у нас в роду все женщины немного, как это сказать, по-русски...

— Колдуньи... И ты тоже.

— Не смейся! Скажи честно: вот сейчас, когда я тебе позвонила, тебе было страшно? Прямо сейчас?

Нада и впрямь казалась колдуньей. Олег несколько раз замечал её способность предугадывать события. Дело доходило до смешного: она регулярно выигрывала у него пари относительно счёта предстоящих футбольных матчей.

— Ты меня не разлюбил? Я тебя знаю! Ты, как медведь, настоящий русский медведь, а рускини красивые и ласковые. Они ласковее меня?

— Нада! У меня машина сломалась!

— Тебе жалко для меня одно слово? Скажи! Если не скажешь, я завтра прилечу в Россию и вцеплюсь ей в волосы!

— You are my sweet wonderful dream!¹

Он нажал кнопку, и связь с Лондоном оборвалась. Он тут же перенабрал домашний номер. Трубка была теперь в руках у Боли.

— Олеженька, не беспокойся. Я уже okay! — она засмеялась. — Как тебе мой английский? Коня останавливаю, и в горящую избу войду, — как всегда, любимый Некрасов на все случаи жизни. Однако Олег почувствовал в её голосе: хоть она и хорохорится, но на самом деле, ей по-настоящему худо, слышно, как одышка мешает ей говорить.

— Боленька! Ты у меня молодец и ещё про деда расскажешь! Я скоро прибуду, только машину почищу.

— Что-то серьёзное?

— Нет, мелочи жизни... Я тебя целую. Дай трубку Туле, если она рядом.

Тулю он попросил дозвониться до компании, которая держит парк эвакуаторов, и объяснил, где сам находится.

— Звони скорее эвакуаторщикам. Или пришли мне их телефон эсэмэской. Так лучше будет.

— Хорошо!

Эвакуаторщика пришлось ждать долго. Он прибыл, когда уже совсем свечерело. Спина по-прежнему болела. Но боль была уже не столь острой. Можно сказать, терпимой.

11

Всё время ожидания и по дороге домой Олег непрестанно размышлял о предстоящих хлопотах по эвакуации Боли и ликвидации всего, что связывало его с домом предков, родным городом, да и Россией — в чём следовало честно признаться самому себе — чего уж тут лукавить. Он — отрезанный ломоть. Отрезанный! Так жизнь сложи-

¹ Ты моя сладкая восхитительная мечта (англ.).

лась. Сам себя и отрезал. И в этом самому себе следует столь же честно признаться. А к чужому каравай не прирастёшь — замес не тот, и корочка не той зажаристости. Чужой каравай он и есть чужой. И никакой успешный бизнес, никакие деньги не делают его англичанином. Он для тамошних, коренных всё равно чужак. В этом смысле схож с Сэмом. Тот, хоть изначально, по рождению подданный Её Величества, а всё равно как бы наособицу. Сэм и живёт там, где сгуртовались поневоле выходцы из Вест-Индии, других заморских территорий, такие же чёрные, как и Сэм.

Кто знает, конечно, как жизнь Олега могла сложиться, если бы не измена жены. Какая глупость — дурацкие записочки комсомольского прохвоста, заматеревшего, ставшего теперь, по всему судя, предводителем шайки, подгребающей город под себя. А какой могла быть эта «другая» жизнь? Здесь, в городе, где все эти годы умирало всё, что имело отношение к созиданию. Приезжая время от времени, узнавал: заводы, некогда славшие свою продукцию в десятки стран, не считая Союза, захлопывали ворота, трансформируясь, в лучшем случае, в торговые площадки, где вовсю разворачивалась торговля постыдно дешевым барахлом. Или становились руинами, летом зарастали бурьяном и амброзией, которая душила жителей окрестных домов. Происходившее, впрочем, мало тогда его трогало. Так, чисто умозрительно. По-настоящему огорчило, только когда следом за приватизацией всех пяти экспедиций прекратило существование и славное геологуправление, где некогда работал отец. Но тогда Олег занят был внедрением в экономические хитросплетения Британии, выстраивал свой малый, но, как оказалось, востребованный бизнес, добивался первых, а затем и больших, по его меркам, успехов. Что ему Россия? Нет-нет, пусть другие живут и доживают в этой реальности, конца и края которой не видно, со всеми её коммуналоподобными и клоунадными партиями типа тех же либертарианцев, чей офис сгорел у него на глазах.

Но Боля... как её забирать? Положим, до Москвы можно довести поездом. Хорошее купе в СВ-вагоне — комфорт и покой. А дальше? Можно арендовать бизнес-джет. Это круто. Затраты велики, но другого разумного выхода не просматривалось. Перелёт в обычном авиалайнере она не перенесёт. Даже в британском. А в арендованном? Стоит попробовать, рискнуть. Тем более, есть самолёты, в которых можно лететь лёжа. А в Лондоне сиделка, что тоже недёшево. Но что делать? Ведь он, по сути, один на всём белом свете. От всей семьи остались они вдвоём с Болей. Хотя, хотя... Быть может, где-то, в какой-нибудь американской тюрьме доживает свой век дед-разведчик, которого всю жизнь — с ума сойти — ждёт Боля. А его кто будет ждать? Вот он и наткнулся, как на пику, на вопрос вопросов. Что останется после него? Помри он там, на берегу... И что? Вот он, здоровый, тщательно следящий за своим физическим состоянием, атлетичный самец, вот его успешный бизнес, вот Лондон... А ещё? Он только что чуть не отдал богу душу, когда напился какой-то дряни из рук проходимца. Его могло не стать. Запросто! Флай ли его спас? Конечно, Флай. Олег вдруг ясно вспомнил, как засуетился, заистерил Молочай, почуявший приближение собаки. Его даже передёрнуло от этого воспоминания, боль запульсировала в спине. «И вот пёс, любимый Флаюшка, из последних сил прибежал, отогнал нечисть и принял мою смерть на себя там, под дубом, подле старицы».

А он сам? Он-то что? Что осталось бы после него, если бы не Флай? Сын, которого убила жена в абортарии? Со страха? Назло, в отместку ему? Да был ли в реальности этот ребёнок и аборт? Натуля — верная дочь своей насквозь артистической мамы, всю жизнь игравшей роль примы в спектаклях на либретто собственной выделки. Тёща наслаждалась выдуманной, опереточной жизнью с её блистательными графами, канканирующими графинями и бутафорскими стразами взамен отсутствующих бриллиантов... Но нет. Скорее всего, та девочка, которую он полюбил до умопомрачения ещё в школе, сказала правду. Зачем бы ей лгать? Что это может изменить в их отношениях? Нет! Так, как она говорила, ложь не произносят. С ума сойти, у него мог быть сын. И не один? А Лондон? А Нада? Но она не хочет даже слышать ни о чём таком, пока они не обвенчаются по православному обряду. Она крепко-накрепко держится семейных устоев. Но как венчаться? Туля и слышать не хочет о разводе. Да и он сам об этом не сильно печалился. Всё шло, как шло. Он даже и забывать начал об этой формальности, этом штампики в российском паспорте. В конце концов, синий прямоугольник на одной из страничек ни к чему не обязывал. Ведь все отношения были прерваны, и он даже не знал, да и не хотел знать, где Туля, чем занята, как устроена её жизнь. Так было для него комфортнее — вот точное определение, чёрт его возьми! Живи они в одной стране, в одном городе, в домах по соседству, старые заусеницы постоянно напоминали бы о себе, задевали, царапали. А теперь, после их встречи и близости? Что с ними произошло? Что? Это надо обдумать. Близость была не просто так, как бы случайная, но неожиданно для обоих истовая, жадная, опаляющая. И, похоже, он не зря сбежал после, хотя надо было бы остаться. Или не надо? Но хотела ли она, чтобы он остался до утра? Они оба немаленькие, не юные неумехи, но прекрасно понимают, что такое под-

линная страсть и как она завязывается однажды крепко-накрепко в такой узел, чтобы никогда больше не развязать, как ни старайся.

Машина-эвакуатор катила по шоссе, обгоняя попутные порожние нефтевозы, сторонясь встречных красных чудовищ, по самую горловину залитых вожделенной, с каждым днём дорожающей нефтью. Но вот потянулись окраинные строения — всё больше базы и какие-то торговые точки. Всё-таки нефть, хоть и вывозилась вся без остатка вместе с прибылью от продажи преимущественно за рубеж, способствовала некоторому оживлению и позволяла существовать и даже процветать разным фирмам и фирмочкам, подобно воровышкам возле придорожной закусочной, склёвывавшим просыпавшиеся крошки. Всё остальное, считай, ни к чему, но только мешает нефтяным качалкам бить поклоны в молитвенном экстазе пред Её Величеством Нефтью. Пожалуй, прав козлийный поводырь: всё, что было здесь прежде, всё, нажитое поколениями русских людей, должно уйти бесповоротно и навсегда. Для обеспечения нефтедобычи в интересах акционеров, живущих чаще всего за тридевять земель, не нужны семейные предания, намоленные иконы в красных углах — все эти лишние затраты на разные школы да больницы... Тем более, половина населения — чистая обуза, старичье. Такое, как Боля. С ним одна морока. Вполне достаточно вахтовиков. Приехал безо всяких жён, детей, отработал и убыл. Тем более, в России, где зима начинается в конце октября, а уходит перед маем. Всё это старичье — сплошная обуза. И никакой хлеб, который всё ещё норовят выращивать на этих полях, не нужен вахтовикам. Привезут, сколько надо, уже нарезанный и упакованный в вакуумированную плёнку. А то, как поступают с теми, кто сопротивляется... Олег наблюдал это в Нигерии, где всё время тлеет огонь междоусобицы, оживающей в нужный момент.

— Лёха, глянь! — Сказал водитель машины-эвакуатора напарнику. — Горит!

Олег очнулся от своих невесёлых раздумий. И правда, горело. Солнце уже почти зашло, и потому чёрный дым был виден только потому, что подсвечен снизу пламенем.

— А где бы это? — Лёха почесал затылок

— Не смикитил? Похоже, возле Красной рощи, куда мы едем. Хорошо горит...

Да, горело хорошо. И когда эвакуатор вывернул в такой родной Товарищеский тупик, Олег ужаснулся: горит опять по соседству. Опять беда: красные машины пожарных, напружиненные напором воды пожарные рукава, милиейские автомобили, скорая помощь. Горел дом Аржанниковых. Хозяина дома — абсолютно секретного, дважды лауреата Государственной премии, главного конструктора оборонного завода давно уже не было в живых. Он ушёл из жизни, когда новые хозяева — приватизаторы, среди которых вдруг оказались американцы из Техаса, практически немедленно приостановили производство, сославшись на неплатёжеспособность Минобороны, и быстренько раскассировали уникальное технологическое оборудование. А в доме оставались две женщины: жена конструктора и его трясущаяся от старости сестра. Они, наивные старушки, планировали открыть мемориальный музей в старинном особняке — прекрасном образце русского провинциального деревянного модерна. Да, был особняк... А теперь догорала башенка, откуда некогда, в самом начале двадцатого века первый хозяин дома мукомол-миллионщик Гуров под шустовский коньячок в телескоп разглядывал лунный диск. Но вот и она рухнула, провалившись, а вверх вырвался столб искр и головёшек, тут же подхваченный ветром. И туда прицельно забили сразу три брандспойта. Но что удивительно: когда горел дом профессора, на пожар глядели жители всех соседних домов. А сейчас — ни одной фигуры. Двери заперты. Окна не светятся.

Эвакуаторщики аккуратно и споро сняли «Волгу» с платформы, получили положенное и укатили. Дверь открыла Туля. По её взгляду Олег понял, что она ждёт какого-то знака, может быть, поцелуя или хотя бы прикосновения:

— Ужас какой! Ты видел? Опять горит. Мы тебя заждались...

Но он шагнул мимо, поставив в угол кейс с ружьём и сразу направился в спальню к Боле.

— Так я пойду? — вслед ему спросила Туля. — А Флай где?

— Да погоди ты... — отмахнувшись, он не обратил внимания на изменившееся лицо бывшей жены.

Боля лежала, скорее, даже полулежала на двух взбитых подушках. Вкруг головы венчик седых волос, заострившийся нос. Но глаза ясные и взгляд твёрдый, учительский:

— Олег! У тебя круги под глазами!

Он сразу вспомнил школу. Боля входит в класс, и класс затихает. Она никогда не повышала голос, не гневалась. Со всеми, даже с самыми отчаянными головешками разговаривала ровно и уважительно, не то что географичка, вечно дребезжавшая по любому поводу, толстущая Серафима Евгеньевна.

— Олег! Что с тобой приключилось?

— Пустяк. Маленькая неисправность.

— Не лги, — учительским голосом сказала Боля. — Ты уже взрослый, и тебе это не к лицу. Если маленькая, зачем, скажи на милость, вызывать эвакуатор?

— Тормоза отказали.

— А говоришь, маленькая... А у нас опять горит...

— Ты-то как?

— Живая. И всё-таки, откуда круги? Ты прилетел не такой. Заболел? Не обманывай меня.

— Флая не стало. Там, на охоте.

— Отмучился, бедный... К тому и шло.

— Хотел его напоследок порадовать...

В дверь позвонили. Туля открыла. Пришёл Юхан. Олег вышел навстречу.

— Привет, парень! Это, на чужом горбу приехал? Что так?

— Тормоза полетели.

— Застоялась. Надо было в автосервис съездить.

— Надо.

— Что думаешь о пожаре?

— Пока думаю.

— Надумаешь, скажи.

— Скажу.

— Мои напугались. Все напуганы.

Они вышли на крыльцо. Дом уже практически догорал. Усилившийся ветер помогал огню, подхватывая языки, взмётывая искры, и они летели в сторону рядом стоящих домов. Казалось, ещё чуть-чуть, и огонь, раздуваемый порывами ветра, бросится на рядом стоящие дома, вопьётся спервоначала в вожденное, старое дерево маленькими злыми своими посланцами, а затем примется с хрустом и треском, под причитания людей и шипение бессильно испаряющейся воды, хлещущей из брандспойтов, пожирать Товарищеский тупик. А там и на расположенную вплотную Красную рощу перекинется. И тут ничего удивительного; Старое, выдержанное дерево хорошо схватывается и сгорает моментально и без остатка.

— Ветер какой! Считай, двадцатого века не стало.

— Как ты сказал, парень?

— Говорю, целый век сгорел. Такая башенка была занятная... И цифры на ней: 1896 год... А старушки-то живы?

— Не было дома, когда загорелось. Гулять в Красную рощу пошли. Они, это, каждый вечер там гуляли, как по часам.

— Что-то часто стали тут у вас пожары случаться...

— Ты сказал «у вас»?

И действительно, почему он отделил себя от места, от дома, в котором родился он сам и его предки? Он что: действительно и бесповоротно стал бриттом? От вопроса кольнуло сердце, и он сразу вспомнил Молочая и его слова про то, что скоро здесь будут обитать иные хозяева. Вот они и приходят. Но сначала огневая зачистка местности. Сначала в дело вступает Бобон и его подельники. Потом всех бобонов приберут к рукам, или, что скорее, аннигилируют. А затем на зачищенное место придут те, кто всё это спланировал.

Они с Юханом подошли к машинам. Пожарные продолжали заливать водой дотлевающие остатки дома. От угольев поднимался пар.

— Вы кто такие, граждане? — обратился к Олегу милицейский лейтенант, сидевший в служебном «бобике» с работающей мигалкой на крыше. — По какому вопросу?

— Это... Живём по соседству, — ответил Юхан.

— Что, поджог? — спросил Олег.

— Тайна следствия, граждане. Не толпитесь. Не положено!

На крыльцо дома, стоящего наискосок, выскочила женщина, которую Олег не знал, и запричитала, не сходя с крыльца:

— Скоро нас всех спалят, спалят! И-и-и-и! Спалят! А милиция спит, купленная.

— Это кто купленный? Я, что ли? — мало что не подпрыгнул лейтенант.

— Все, как один, купленные, купленные, купленные! В зеркало на себя гляньте: коррупция кру... — она набрала воздуха сколько поместилось в её грудную клетку, да с такой силой, что показало, будто её и без того немалая грудь стала размера на три больше, и продолжила: — кругом одна коррупция! Они строить тут наладились, начальство это самое, всенародно избранное, партийное. А нас, простых граждан, выжидают. И милиции хоть бы хны... Им-то хорошо! — продолжила она, указывая на Олега и Юхана. — Уедут в ландоны свои — а туточки гори всё синим пламенем.

— Раиска-челночница, — пояснил Олегу Юхан, — торговка с барахолки. Скандалистка. Дом арендовала, в склад оптовый превратила.

— А кто тут из Лондона, граждане? — оживился милиционер.

— А что, нельзя? — съязвил Юхан.

— Документы в порядке? Регистрация и всё такое...

— Зольников! — из-за машин появился явно начальствующий чин в майорских погонах. — Ты чего тут груши околачиваешь?

— Тащ-щ майор! Осуществляю паспортный контроль.

— Там пожарные интересну-у-ую бутылочку, понимаешь, обнаружили. Похоже... — и он осёкся, заметив посторонних.

— И виновных сроду не найдут! Всё куплено. А сами на иномарках разъезжаете! — продолжала возглашать с крыльца, как с трибуны, скандалистка Раиска.

— Щас оформим твоё выступление как неразрешенный митинг, — сказал майор, обращаясь к Раиске. — Я давно до тебя добираюсь! Зольников, приступай к составлению!

Юхан и Олег молча пошли к дому. А вослед неслись звуки отчаянного препирательства Раиски с милиционерами и все те звуки, что сопровождают работу пожарных расчётов: рычание двигателей, напружинивающих водой брандспойты, громкие переговоры пожарных, шипение воды, льющейся в огонь. У крыльца они остановились.

— Ну, этто, что делать будем, парень? — спросил Юхан.

— Утро вечера мудреней.

— Ну-ну...

И они разошлись. У дверей его ждала Туля:

— Так я пойду? Я тебе постелила...

— Подожди. Это потом.

К удивлению, Боля уже сидела в кресле, стоящем возле кровати.

— Что? Горит?

— Догорает.

Ветер усиливался и начал хлопать надорванным железным листом кровли сарая. Олег подумал, что утром придётся лезть по старой лестнице и прибавить лист. Только зачем, когда всё вокруг горит синим пламенем?

— Ужасно, Олеженька! Ветер-то, ветер! А там горит. Некстати ветер... Я никогда не думала дожить до такого...

Кто бы мог такое предположить?

Не из безоблачного райского далека вернулся домой Олег. Всякое пришлось повидать и в самой Англии, и в африканских командировках особенно. Но то — там. А дом всегда виделся тихим островом среди буйнопомешанного мира со всеми его терактами и якими миротворческими операциями против диктаторов и узурпаторов. Хотя Олег никогда не обольщался и по поводу происходящего на просторах родины чудесной. Как-то в Лондоне, говоря о России с одним из соотечественников, он сравнил родину с воспетым крейсером «Варяг», команда которого своими руками открыла кингстоны, чтобы напустить забортной воды в трюмы. И утопить красавец-корабль. Но то была война и практически безвыходное положение. А перед затоплением — отчаянный бой. А здесь — собственноручно, под одобрительный рёв митингующего экипажа понавертели дырищ в днище. Впрочем, на всё происходившее в стране он словно сквозь кисею смотрел.

— Боленька! — сказал Олег как можно ласковее. — Я всё обдумал. Надо уезжать. Мы поедем с тобой на поезде до Москвы, а оттуда на маленьком самолёте в Лондон. Ты будешь жить со мной.

— Нет.

— Смотри, что творится.

— Нет, — Боля отвечала негромко, даже, пожалуй, тихо. Не было в её ответе никакой жёсткости. И во взгляде прочитывалась, скорее, жалость к нему, Олегу, из-за того что он не понимает очевидных вещей.

— Там и медицина лучше, чем здесь. Тебя подлечат, и мы с тобой ещё погреемся на солнышке возле чёрных львов на Трафальгарской площади. Там славно!

— Нет, Олеженька, милый! Я останусь здесь.

— Но почему?!

— Помнишь, я рассказывала тебе про деда твоего Николая? Когда мы расставались... перед его отъездом в командировку, я обещала, что буду ждать его всегда... до самой смерти. Он ещё не вернулся. А я ещё жива.

— Но...

— Никаких «но», Олеженька! Завтра с утра я напеку колобков. Покормлю вас с Тулей. Она пусть останется, вдруг укол. Она умеет... На всякий случай. Хотя мне уже полегчало.

— И всё-таки...

— Знаешь, мой милый, я твоего деда полюбила, потому его звали, как Некрасова, Николаем... Смешная была, правда? Я на филфаке... он на инязе — на курс меня старше... Он такой, такой... удивительный. А стихотворений... знал наизусть вдвое... а то и

второе больше... моего. Память феноменальная... Один раз прочтёт — и сразу наизусть со всеми знаками препинания. Идём... гуляем, а он так и сыплет... — Боля старалась говорить, как прежде говаривала, легко, опираясь на гласные, но теперь дыхание у неё было короткое, не глубокое. — Как-то помню... мы тогда по Волге на теплоходе плыли. На берегу Макарьев — знаменитый некогда монастырь. Видно, что разруха... А Николай читает: «Сгорело ты, гнездо моих отцов! Мой сад заглох, мой дом бесследно сгинул. Но я реки любимой не покинул, вблизи её песчаных берегов»... У него, знаешь, в роду... много офицеров было... Той ещё, царской армии. Они к белым не ушли. Твой прадед до комбрига в Красной армии дослужился. Погиб в сорок первом под Перемышлем, — Боля взяла Олега за руку, сжала её своими холодными пальцами: — А всё-таки, Олеженька. Вид у тебя неважнецкий. Надо, чтобы тебя Марта посмотрела... завтра. Она хороший доктор... Иди, отдыхай... — она, опираясь на руку Олега, пересела с кресла на кровать и легла. Олег укрыл её легким одеяльцем и выключил свет. В комнате стало темно, лишь огонёк лампы бросал желтоватый отблеск, золотя образок Николая Угодника.

— Спокойной ночи, бабуля!

12

И опять: солнце, блещущая под его лучами река, лодка и поплавок, уносимый течением. После полудня погода стала меняться. Ветер, что ещё утром наволакивал жару, тяжёлую, как ватное одеяло, вдруг поумерился. И, словно Флай, набегавшийся в полную силу на приволье и умаявшийся от беготни, утомился, улёгся, тяжело дыша, положив голову на вытянутые передние лапы, вывалив розовый свой язык. А на смену южному запотевал, усиливаясь, ветер с северо-запада. Начало заметно холодать. Блескучая гладь речной поверхности подёрнулась рябью. Зеркальное отражение прибрежного леса рассыпалось на мелкие осколки, ещё нестерпимее заблеставшие под солнечными лучами. Новый ветер тянул за собой облачную грядку. Она, надвигаясь, на глазах вырастала и захватывала небесное пространство. Синяя, отдающая даже в черноту у основания небесная гряда увенчана была снежно-белыми пиками и очень походила на горы главного кавказского хребта. Всё шло к грозе. Теперь стало понятно, почему клевать рыба ленилась уже со вчерашнего вечера. А с утра не было и вовсе ни одной поклёвочки: ни на опарыша, ни на пареный горох, ни на свежекопанного червя дождевого. И жмых в сетке, опущенный с лодки в воду, никого не прельщал. Откуда бы рыбе, обитающей в глубинах реки, знать, что гроза недалеко?

Олег смотал удочки, отвязал лодку от чигиня и, наваливаясь на вёсла, погрёб к берегу, где белела старая, отцова ещё, палатка. Но чем сильнее грёб, тем дальше его относил вниз по течению. Руки ли, державшие вёсла, так ослабли? С чего бы? Или течение реки ускорилося до невозможного? Он никак не мог выгрести в берег, где вился дымок костерка, над которым, подвешенный на треноге, чернел котелок, в котором разогревалась загустевшая до дрожалки уха из трёх судачков и жирнющего леща, сваренная с вечера. И вот уже стан скрылся за поворотом реки. Олег почувствовал, что начинает обессиливать, весла сделались неподъёмными. И спина... опять она напомнила о себе дергающей болью. А грозные тучи движутся над рекой и, кажется, цепляются за прибрежные вязы и осоки. И ветер задул остервенело. Речная вода враз сделалась цвета корабельной брони «Белфаста»... А с крутого яра машет ему и что-то кричит на не пойми каком языке Сэм, одетый, как всегда, с иголки.

— Там, там! — кричит в ответ Олег, указывая рукой Сэму направление к оставшемуся выше по течению стану. — Там!

А там, в этот ужасный момент собственного бессилия, на самой кромке обрывистого берега остались дорогие и абсолютно беспомощные люди: папа и мама. Папа и мама! Папа такой, каким он уходил в свою последнюю экспедицию. А мама... Мама выглядела так, как она выглядела, вся иссопная раком накануне смерти. С ума сойти! Надвигается чудовищная гроза, а они сидят на складных креслицах с закрытыми глазами и пребывают в блаженном неведении о том, что их ждёт. И он, Олег, не может ничего поделать, потому что лодку несёт по течению и в довершение начинает закручивать речным водоворотом, как он ни упирается веслами в потемневшую воду. Ах, Святослав Евгеньевич! — одержимый романтик-поисковик и открыватель всемирного геологического закона, которому он хотел дать своё имя. И мама Нина Николаевна — инженер-технолог на секретном заводе. Они молчат, и Олег с ужасом осознаёт, что позабыл их живые лица, мимику и даже цвет глаз папы. Жизнь, которой он живёт, стерла эти подробности. Просто стёрла из-за неупотребляемости. Не до того было все эти годы. У него дома в Лондоне и фотографий родительских-то нет. Всякий раз он хотел во время приездов взять их с собой и в Лондоне увеличить да вставить в рамки. Но всякий раз, закрутившись, забывал. Только Болина фотография всегда с собой, снятая на телефон. А помимо грозы, которая вот-вот грянет, он точно знает — в густо-

те подлеска таится Молочай со своим Берией на поводке. Олег силился вновь и вновь докричаться до Сэма, чтобы он шёл скорее на стан, и не смог, потому что голосовые связки нестерпимо свело судорогой и только невразумительное «ы-ы-ы» вырывалось из горла.

— Олег, Олег! — кто-то трясёт его за плечо. Голос звучит знакомо. — Олег!

Да это же Тулин голос. Но откуда ей взяться посреди реки в лодке? Он же в ней один!

— Олег!

Он открыл глаза. Да, это была именно она. Склонилась над ним. За окном ещё темно, Ветер по-прежнему треплет лист кровли. Туля в старом халатике, кажется, ещё мамином. Халатик маловат, и она придерживает его на груди.

— Ты так страшно стонал...

— Который час?

— Четвёртый пошёл.

— Я правда стонал?

— Ужасно. Что тебе снилось?

— Рыбалка.

— Я услышала, испугалась и решила тебя разбудить.

— Спасибо. Вовремя. А то бы меня унесло, — он через силу улыбнулся. — Присаживайся, — Олег подвинулся, освобождая краешек кровати, чтобы она могла присесть. — Ты не спала?

— Нет. Сидела рядом с Болей. Потом мерила ей давление и себе заодно. Уколола, как врач наказал. А потом книжку сидела читала.

— Какую?

— Какую-то засыпательную. Умную. Уже и ложиться собралась, а тут ты...

Туля сидела у него в ногах, он смотрел на неё и видел, как сильно она постарела за эти вычеркнутые из их совместного пребывания на земле годы. Вчера, под коньяк, сигару, сквозь заблаговременно нанесённый макияж, полусумрак в кошкином доме и внезапно проснувшееся желание, это было не столь явственно. Постарела, постарела... Да и он... хотя никогда особо не задумывался о внешности; всё-таки не женщина.

— Что так смотришь? Я стара для тебя стала? — в полутьме спальни, освещаемой ночничком, она угадала выражение его глаз. — А та, в Лондоне? Она много меня моложе? Она русская? Или англичанка? Ты, наверное, любишь её? А она? Она тебя любит? Тебя нельзя не любить. Такой...

— Я хочу встать.

Он встал и направился к двери бабушкиной спальни. Дверь была притворена, но не полностью. Олег тихонечко ладонью надавил на белую филёнку, дверь, скрипнув, приоткрылась ещё совсем на чуть-чуть.

— Заходи, заходи... — услышал он из темноты Болин голос. Не спала ли она или её пробудил тихий скрип? — Поправь, пожалуйста, фитилёк и подлей масла в лампадку.

Лампадка не светилась. Он включил лампочку, Боля зажмурилась от вспыхнувшего света. Олег достал державку. Фитилёк, действительно, требовалось выдвинуть, да масла в чашке было чуть на доньшке. Пузырёк с надписью «Масло лампадное» стоял подле. Олег подлил масла, протолкнул фитилёк сквозь трубочку и опять возжёг лампаду, чиркнувши спичкой.

— Хорошо, Олеженька! Хорошо... выключи lampu.

Он щёлкнул выключателем. Лампочка погасла. Комната погрузилась во тьму. Они остались втроём: Боля, он и Николай Угодник, высвечиваемый чуть трепещущим язычком лампадного огня.

— Ты когда надумал возвращаться к себе в Лондон?

— Никогда.

— Ты с ума сошёл?

— Ни в коем разе, Боленька! Ни в коем разе! Просто там никто не умеет печь колобки такие, какие у тебя получаются. Помнишь: я по амбару метён, по сусеку скребён, на сметане мешон, в масле пряжон...

— Колобок, колобок, — тихим голосом, вернее, полушёпотом подхватила Боля, — я тебя съем, — и как бы засмеялась. Олег тоже улыбнулся сквозь выступившие слёзы. Слава богу, их не могла увидеть Боля.

А ветер за окном по-прежнему норовил оторвать ржавый лист жести от крыши старого сарая и безжалостно трепал узловатые ветки деревьев в легендарной Красной роще, которую уже сегодня, с самого утра, по решению законно избранного главы города, при единогласном одобрении депутатского корпуса, должны были начинать беспощадно омолаживать.